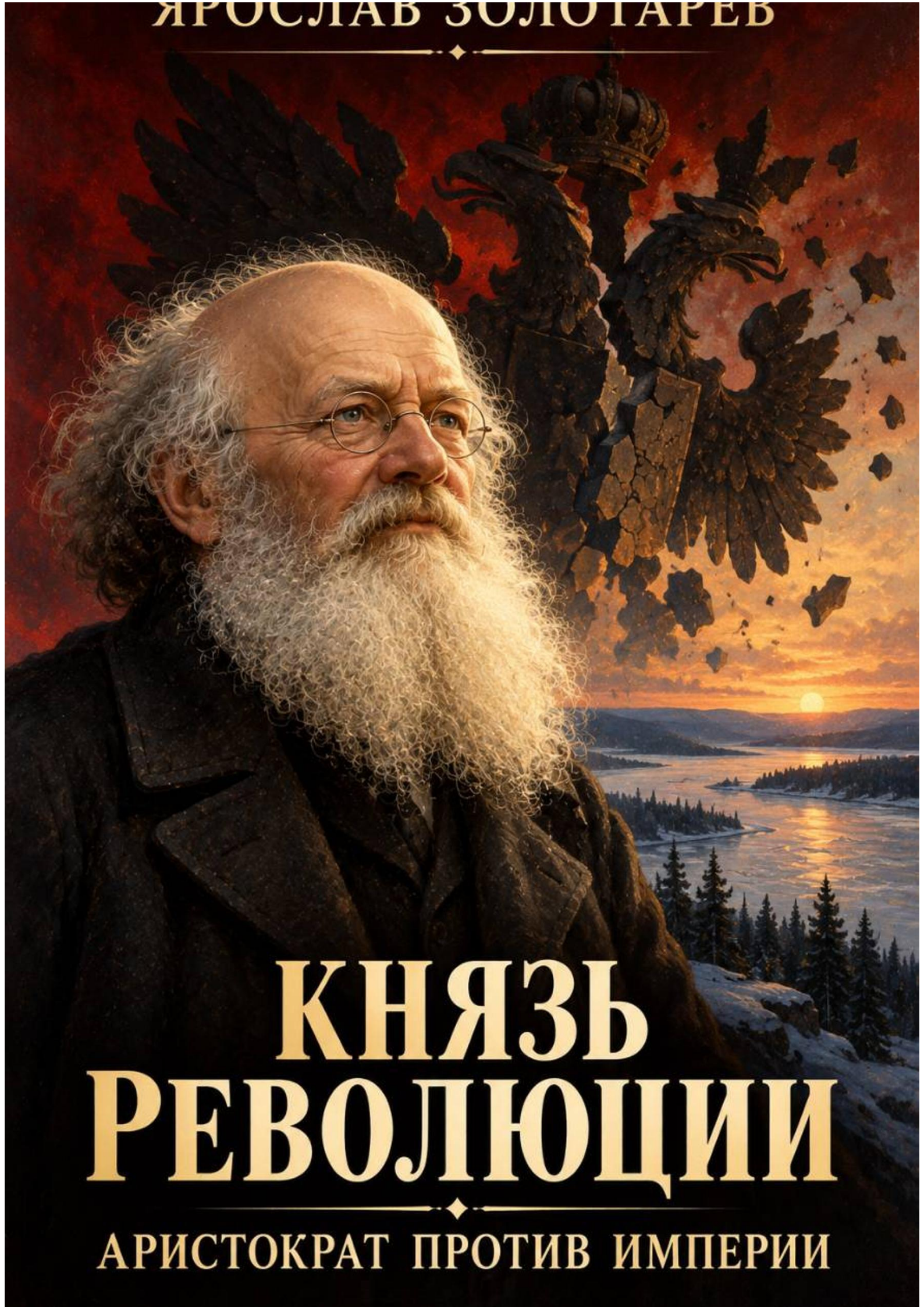


ЯРОСЛАВ ЗОЛОТАРЕВ



# КНЯЗЬ РЕВОЛЮЦИИ

АРИСТОКРАТ ПРОТИВ ИМПЕРИИ

Ярослав Золотарёв

**Князь революции:  
аристократ против империи**

«Автор»

2026

## **Золотарёв Я.**

Князь революции: аристократ против империи / Я. Золотарёв —  
«Автор», 2026

Князь из рода Рюриковичей, паж императора, исследователь Сибири и Амура — и один из величайших русских мыслителей, чьи книги читал весь мир. Пётр Кропоткин мог сделать блестящую карьеру при дворе. Вместо этого он выбрал Сибирь, науку и правду. Экспедиции по нехоженной тайге, открытия, которыми гордится русская география, Петропавловская крепость, дерзкий побег и сорок лет изгнания — и ни дня без мысли о России. Он доказал, что жизнью движет не борьба всех против всех, а взаимная помощь, и нашёл её корни в русской общине, казачьих станицах и сибирских деревнях. Он предупреждал, что свобода, спущенная сверху, оборачивается новым деспотизмом. Семидесятипятилетним он вернулся на родину, и его встречали шестьдесят тысяч человек. Роман о русском князе, которого уважали и враги, — о чести, верности родине и цене свободы.

© Золотарёв Я., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Глава 1. Персидский царевич                  | 5   |
| Глава 2. Портной Мирабо                      | 14  |
| Глава 3. Временник                           | 24  |
| Глава 4. Крепкий, как Новый мост             | 31  |
| Глава 5. Газета в партах                     | 41  |
| Глава 6. Князь, воля!                        | 49  |
| Глава 7. Серые шаровары                      | 58  |
| Глава 8. Европа — Азия                       | 67  |
| Глава 9. Секретарь всех комитетов            | 79  |
| Глава 10. Сорок барж                         | 90  |
| Глава 11. Утонул по воле Божьей              | 100 |
| Глава 12. Купец второй гильдии Пётр Алексеев | 110 |
| Глава 13. Прощай. Кто?                       | 121 |
| Глава 14. Какою ложкою ел мужик              | 130 |
| Конец ознакомительного фрагмента.            | 137 |

# Ярослав Золотарёв

## Князь революции: аристократ против империи

### Глава 1. Персидский царевич

*Москва, 1842–1850*

Старая Конюшенная лежала между Арбатом и Пречистенкой тихо, как кошка на солнце. Здесь не было лавок, только на углу стояла полицейская будка, и будочник днём выходил с алебардой отдавать честь проезжающим офицерам, а вечером уходил обратно в темноту чинить чужие сапоги и тереть нюхательный табак для соседских лакеев. Дома в переулках были одноэтажные, деревянные, с колоннами, выкрашенные по штукатурке в весёлые цвета, с зелёными железными крышами. В каждом — холодная зала с рядом стульев вдоль стен и роялем, гостиная с диваном в чехле, маленькая гостиная с фарфоровыми безделушками на дамском столике, за которым никто никогда не писал. Над калитками висели медные доски: «Дом поручика и кавалера такого-то». Кто жил здесь, тот знал, что церковь, в которой его крестили, будет и та, в которой его отпоют.

В доме в Штатном переулке 27 ноября 1842 года, по старому счёту, у генерала князя Алексея Петровича Кропоткина и его жены Екатерины Николаевны родился четвёртый ребёнок, сын Пётр. Старшему, Николаю, шёл девятый год, Елене восьмой, Александру не было и полутора лет.

Князь Алексей Петрович гордился родом. Над диваном в кабинете висел пергамент с гербом княжества Смоленского, обёрнутым в горностаевую мантию Мономаха, и в доме было известно, что Кропоткины происходят от Ростислава Мстиславича, внука Мономаха, и что они Рюриковичи, а Романовы, по большому счёту, люди новые. Сам Алексей Петрович никаких подвигов не совершил. Орден Анны с мечами и золотую саблю он получил за то, что во время Турецкой войны у него на глазах загорелась деревня, и его крепостной Фрол бросился в огонь и вынес ребёнка. Когда сыновья, подросши, возражали, что ребёнка спас Фрол, отец отвечал с искренним недоумением: «Так что ж такое? Разве он не мой крепостной? Ведь это всё равно».

Жену он привёз из Варшавы.

Это случилось в тридцать первом году, когда русская армия во второй раз за полвека брала Варшаву. Алексей Петрович служил при штабах, и в Варшаве познакомился с младшей дочерью корпусного командира генерала Николая Семёновича Сулимы. Свадьбу сыграли в Лазенковском дворце, посажёным отцом невесты был сам фельдмаршал Паскевич. Всё это было очень торжественно, и Алексей Петрович до старости любил рассказывать, как это было торжественно, неизменно прибавляя одно и то же:

— А приданого ваша мать мне не принесла. Старый Сулима, ваш дедушка, мне золотые горы насылил по службе, а вместо того скоро сам поехал в Сибирь. Так я и остался ни с чем.

Это была правда. Николай Семёнович Сулима карьеры не сделал и состояния не нажил. В двенадцатом году он во главе кирасир врубился во французское каре сквозь щетину штыков, его оставили на поле как убитого, а он поднялся с глубоким шрамом через всю голову. Но стать лакеем при всемогущем Аракчееве не захотел, и его отправили в почётную ссылку, генерал-губернатором сначала в Западную, потом в Восточную Сибирь. В те годы такое место считалось доходнее золотого прииска. Старый Сулима вернулся из Сибири таким же небога-

тым, каким уехал, и оставил трём сыновьям и трём дочерям маленькое наследство. Воровство сибирских чиновников он остановить не сумел и, говорят, приходил от него в отчаяние.

Род Сулим был не московский и не петербургский. Это был род малороссийский, казацкий, старшинский, и в нём помнили то, о чём в Старой Конюшенной не говорили: что Сулимы вышли из запорожцев, тех самых, что умели драться и с отлично вооружёнными поляками, и с турками, бравшими их втрое числом, но не умели уберечься от московской дипломатии. Один из Сулим, Иван, был гетманом запорожцев. Поляки взяли его в плен и замучили в Варшаве. Через двести лет его далёкая наследница венчалась в Варшаве во дворце, и посажёным отцом у неё был русский фельдмаршал, только что взявший этот город. Никто на свадьбе об Иване Сулиме не вспомнил.

Екатерина Николаевна была высокая, стройная, с тяжёлой массой каштановых волос, с тёмно-кариими глазами и маленьким ртом. Она всегда была весела, подчас беззаботна, любила музыку и понимала её, писала акварели, вела дневники твёрдым красивым почерком, переписывала в тетради запрещённые стихи. Когда Алексей Петрович затеял строить церковь в Петровском, она сама написала для неё иконы, и через много лет крестьяне с любовью показывали её сыну образ Алексея Божьего человека.

Летом, в калужском Никольском, она выходила на балкон смотреть, как девки водят хороводы на лугу под барским домом. Смотрела, смотрела — и не утерпит, сбежит по ступенькам и встанет в круг. Никольские бабы и тридцать лет спустя рассказывали об этом её сыновьям, и всегда одними и теми же словами, как рассказывают о чуде.

В деревне её любили так, как редко любят барынь. Она была не здешняя, южная, и пела не здешние песни: протяжные, с непривычным выговором, где «г» выдыхалось мягко, как будто его и не было. Горничная её Маша, крепостная девушка, переняла от неё две или три таких песни и потом пела их в людской, когда никто из господ не слышал. Других господ в доме Кропоткиных эти песни не трогали. Хохлацкое — так это называлось у Алексея Петровича, если вообще как-нибудь называлось.

Счастлива с мужем Екатерина Николаевна не была. Алексей Петрович играл в карты, и при жизни жены, и особенно после её смерти, и всегда проигрывал, потому что после полуночи начинал дремать за столом. Она уезжала лечиться на немецкие воды, уже с чахоткой в груди, и писала там в дневник о красоте гор и о своих печалях, о жажде счастья, которого не было. Сын найдёт эти тетради через много лет в углу деревенской кладовой. Среди нот, французских драм, стихов Ламартина и поэм Байрона будут и тетради, куда она переписала «Думы» Рылеева, повешенного декабриста. Рылеев писал о Богдане Хмельницком и о Наливайке, казацком вожаке, которого поляки казнили так же, как Ивана Сулиму. Вряд ли это было случайно.

На одном балу Екатерина Николаевна простудилась. Простуда перешла в воспаление лёгких, лёгкие и без того были больны.

Первое, что Петя запомнил в жизни, была высокая угловая комната с белой постелью.

Их с Сашей ввели туда в неурочное время, днём, когда полагалось гулять. Детские креслица и столики были придвинуты к самой кровати, на столиках, накрытых белыми салфетками, стояли конфеты и маленькие стеклянные баночки с желе, красным и жёлтым. На подушке лежало бледное, исхудалое лицо с большими тёмными глазами. Мать глядела на них ласково, звала есть, звала забраться к ней на постель. Петя потянулся к баночке. Мать вдруг заплакала и закашлялась, и их увели.

Ей было тридцать пять лет. Она придумала это маленькое угощение, потому что поднаться к детям уже не могла и хотела напоследок быть счастливой их радостью. Петя понял это гораздо позже. Тогда он помнил только желе.

Через несколько дней их перевели из большого дома во флигель во дворе. Был апрель, солнце заливало маленькую комнату, а немка-бонна мадам Бурман и няня Ульяна велели ложиться спать среди бела дня. Лица у обеих были мокрые. Они сидели у окна и шили два одинаковых чёрных платица с широкой белой каймой, и шептались о чём-то, чего мальчики понять не могли.

Не спалось. Сначала Саша, потом Петя вскочили в постелях.

— Где мама? Где мама?

Обе женщины заплакали в голос, бросили шитьё и стали гладить их кудрявые головы. «Бедные сиротки», — повторяла мадам Бурман по-русски с немецким выговором. Ульяна, крестьянка, не выдержала первой:

— Ваша мама улетела туда, на небо, к ангелам.

— Как на небо? Почему?

Ответа не было. Пете было три с половиной года, Саше не исполнилось пяти. Где в эти дни были старшие, Николай и Лена, Петя потом не мог вспомнить: их, кажется, уже увезли учиться, они всегда держались вдвоём, и маленькие их почти не знали.

Два года мальчики прожили во флигеле, и два эти года потом не оставили в памяти почти ничего. Отца видели редко. Мадам Бурман, одинокая старая немка, у которой не было ни своего угла, ни родной души, заменила им мать, как умела: покупала простые игрушки, закармливала коврижками, которые носил по дворам такой же одинокий старый немец. Осталась она у Кропоткиных только ради покойной княгини.

Ульяна чесала их на ночь, крестила и говорила одно и то же:

— Бедные сиротки. Теперь ваша мамаша смотрит на вас с небес и плачет.

А иногда, когда в доме было тихо, она садилась у Петиной кровати и, глядя в окно, напевала вполголоса чужую, нездешнюю песню — ту, что слышала когда-то от барыни:

*Ой ходить сон коло вікон, А дрімота — коло плота...*

Слов она толком не понимала и путала их, но мотив держала верно. Петя засыпал под него, не зная, что это колыбельная его матери и её матери, что эту песню пели по хатам за Днепром, когда никаких Кропоткиных там не было и в помине.

— Это мамина? — спросил он однажды.

— Мамина. Барыня её пела, когда ты в люльке лежал. Она ведь у вас не наша была, не московская. Хохлушка. Из казаков.

— А казаки — это кто?

Ульяна подумала.

— Вольные люди, — сказала она наконец. — Без барина жили.

Петя не понял, как можно жить без барина. У всех был барин. У Ульяны барином был папенька.

О казаках ему рассказали ещё раз, и уже подробнее, той же зимой.

К ним во флигель приехала бабушка Сулима, мамина мать. Она была маленькая, сухая, в чёрном, говорила с тем же мягким выговором, что Ульяна передразнивала в мамином пении, и смотрела на внуков долго, не отрываясь, как смотрят на портрет. Мальчики дичились. Тогда она вынула из ридикюля маленький портрет на кости — мамино лицо, совсем молодое, с локонами, — и положила на стол.

— Похож, — сказала она, глядя на Петю. — Этот похож.

Потом она сидела с ними до вечера и рассказывала. Про деда, который рубился с французами и которого считали мёртвым, а он встал. Про то, как дед служил в Сибири, далеко-

далеко, где зима полгода, где реки шире Москвы-реки в десять раз, и как он не брал взятку, когда брали все.

— А ещё раньше, — говорила бабушка, — давно, когда не было ещё ни деда, ни прадеда, жили мы на Днепре. За порогами. Там была Сечь.

— Что такое Сечь?

— Это такое место, где жили казаки. Туда приходил кто хотел — хоть беглый, хоть какой. Спрашивали только: в Бога веруешь? Перекрестись. И всё, ты товарищ. Панов там не было. Ни князей, ни графов. Атамана выбирали сами, всем товариществом, на раде. Не понравился — на другой год скинут, выберут другого. Землю, рыбу, луга делили по куреням, по жребью. Жили бедно и вольно.

— А царь там был? — спросил Саша.

— Царя не было. Был свой атаман.

— А где теперь эта Сечь?

Бабушка помолчала.

— Нету. Царица Екатерина её разорила. Вот как раз когда я была такая, как вы. Пушки поставили, всех разогнали. Кто ушёл к туркам, кто куда.

Петя долго обдумывал это. Потом спросил то, что казалось ему самым важным:

— А наш папенька тоже бы туда пошёл?

Бабушка посмотрела на него внимательно и засмеялась впервые за весь день.

— Нет, голубчик. Ваш папенька — князь. Князей туда не брали.

Больше бабушка во флигель не приезжала. Весной в доме всё переменилось, и Сулим туда больше не пускали.

Алексей Петрович собирался жениться снова и уже высмотрел себе невесту из богатой семьи, когда судьба его решилась без него.

Однажды утром, когда он сидел у себя ещё в халате, в кабинет вбежали перепуганные слуги: приехал генерал Тимофеев, командир шестого армейского корпуса, где служил Алексей Петрович. Тимофеев был любимец государя и человек страшный. За ошибку на параде он мог приказать заporоть солдата до полусмерти, офицера с расстёгнутым крючком на высоком воротнике — разжаловать и сослать. Слово его у Николая Павловича значило всё. Он никогда прежде не бывал у Кропоткиных. Теперь он приехал сам, лично, свататься — за племянницу своей жены, девицу Елизавету Марковну Карандино, одну из дочерей адмирала Черноморского флота.

Алексей Петрович согласился. Не согласиться было нельзя.

— Вы, молодые, ничего не понимаете в этих делах, — говорил он потом, много лет спустя, с тонким и неожиданным юмором. — Знаешь ли ты, что тогда значило «корпусный»? А тут сам он, одноглазый чёрт, приезжает сватом. Конечно, приданого было всего — большой сундук, набитый бабьими тряпками, а на сундуке сидит крепостная девка Марфа, чёрная, как цыганка.

Свадьбу сыграли так же пышно, как первую, в какой-то аристократической церкви, с «корпусным» за посажёного отца.

Мальчики свадьбы не запомнили. Запомнили только большую гостиную в чужом нарядном доме и молодую красивую даму с правильным греческим профилем и слишком острыми, южными глазами. Дама присела перед ними, взяла за руки и сказала весело:

— Видите, какая весёлая мамаша будет у вас!

Саша и Петя насупились, поглядели друг на друга, и Саша ответил за обоих:

— Наша мама улетела на небо.

Дама выпрямилась. Больше она с ними так не говорила.

Дом в Штатном переулке продали, купили другой и обставили всё заново, до последнего стула. Из дома исчезло всё, что могло напомнить о первой жене: её портреты, акварели, вышивки, ноты. Что-то увезли в деревню и снесли в кладовую, что-то, может быть, просто выбросили. Мадам Бурман молила оставить её — она будет смотреть за ребёнком, которого ждала новая княгиня, она посвятит себя ему целиком, — но её рассчитали.

— Не хочу иметь у себя никого из дома Сулимы! — сказала Елизавета Марковна, и это стало законом.

Она порвала все связи с мамиными братьями, сёстрами и с бабушкой. Ульяну сделали ключницей и выдали за Фрола, которого после одной страшной ночи Алексей Петрович произвёл в дворецкие и велел величать Фролом Фадеичем.

Ночь эта случилась вскоре после смерти Екатерины Николаевны. Князь сел играть на мелок, проиграл тридцать пять тысяч — огромные по тем временам деньги — и отказался давать вексель. Тогда двери заперли на ключ и приступили к нему с пистолетами. «Я и подписал», — рассказывал он сыну через много лет, в минуту откровенности. Вернулся домой под утро, зажёл свечу в кабинете, сел в кресло у стола. Что было дальше, в доме говорили шёпотом. Свеча догорела, нагоревший фитиль упал на бумаги, бумаги занялись. Князь, кажется, хотел покончить с собой, и верный Фрол ему помешал. В девичьей потом таинственно показывали друг другу огарок с длинным обвислым фитилём.

Старшего брата Колю, кадета, брали домой теперь только на Рождество и на Пасху, хотя мог бы приезжать каждую субботу. Лену отдали в институт. Сашу и Петю мачеха терпела, но не любила: они были дети той, другой, из дома Сулимы, похожие на неё лицом.

Зато в людской их любили за двоих. Это Петя понял не сразу, но понял навсегда. В тёмном коридоре чья-то рука ласково касалась его головы. Буфетчик украдкой совал кусок пирога. Летом в Никольском крестьянка, встретив их в поле, останавливалась, смотрела долго и спрашивала:

— Вырастете ли вы такими же добрыми, как ваша мать? Она нас жалела. А вы будете жалеть?

«Нас» — это значило крепостных. Петя не знал, что ответить. Он не знал толком, что значит «жалеть». Он знал только, что у этих людей нет ни своего угла, ни своей воли, что их можно продать, высечь, отдать в солдаты, и что его мать почему-то была с ними, а не с господами. Мать, которую он не помнил, кроме бледного лица на подушке и баночки с желе, жила в доме гораздо дольше, чем прожила на самом деле. Её не было, но память о ней ходила по коридорам, сидела в людской, пела в девичьей чужие протяжные песни.

Однажды, уже большим мальчиком, он узнал ещё одну историю о матери, и она его поразила. Умирая, Екатерина Николаевна взяла с мужа обещание отпустить на волю её горничную Машу. Прошёл год. Князь, то за тем, то за другим делом, обещание не исполнил. И вот, рассказывал он, сидит он раз поздно ночью в кресле, дремлет, и входит она — вся в белом, бледная, с горящими глазами — и говорит глухим голосом: «Alexis, ты обещал дать вольную Маше. Неужели забыл?» Он вскочил, а её уже нет. Наутро он отслужил панихиду на могиле и в тот же день отпустил Машу.

Много лет спустя, на похоронах отца, Пётр и Александр разыщут эту Машу, замужнюю, счастливую, и спросят её о привидении. И она, засмеявшись, ответит, что дело было давно и теперь можно сказать правду: видя, что князь забыл, она надела белое и сыграла барыню.

Петя будет потом думать, что из всех людей, знавших его мать, Маша поняла её лучше всех. Свободу не дают. Её добывают, даже если для этого надо встать из гроба.

Зимой, когда Пете шёл восьмой год, в Москву ждали двор. Николаю Павловичу исполнилось двадцать пять лет царствования, и московское дворянство решило дать в его честь костюмированный бал в Благородном собрании, такой, чтобы о нём говорили и в Петербурге. Задумано было, что государя приветствуют все народы, какие только есть в империи, а дети пройдут перед троном с гербами всех губерний.

В доме Кропоткиных приготовления шли так же, как во всех домах Старой Конюшенной. Для мачехи шили роскошный русский сарафан с кокошником. Отец, как военный, должен был явиться в мундире. Родственники, которые не служили, хлопотали о греческих, кавказских, монгольских нарядах. Мальчиков сочли слишком маленькими и ни во что не наряжали. Петя с Сашей ходили по дому, путаясь у портних под ногами, и смотрели, как растут на манекенах чужие народы.

Но на бал Петя всё-таки попал — по наследству от матери.

Екатерина Николаевна была дружна с Назимовой, женой генерала, красивой женщиной, которая должна была явиться персидской царицей, и рядом с ней — её восьмилетний сын, персидский царевич, в богатом кафтане, перехваченном поясом с драгоценными камнями. За несколько дней до бала мальчик заболел. Назимова решила, что больного лучше всего заменит кто-нибудь из сыновей её покойной подруги, и Сашу с Петей привезли к ней примерять костюм.

На Саше кафтан оказался короток. Саша был выше. На Пете всё пришлось точь-в-точь, будто шили на него. Последней надели высокую смушковую шапку, чёрную, курчавую, из мерлушки. Назимова отступила, поглядела, засмеялась и захлопала в ладоши.

Дома Ульяна, когда увидела его в этой шапке, всплеснула руками.

— Ну чисто козачок, — сказала она. — Такие шапки, говорят, запорожцы носили.

— Я не козачок, я персидский царевич, — строго ответил Петя.

— Ну, царевич так царевич, — согласилась Ульяна. И, поправляя ему шапку, вдруг перекрестила его, отвернулась и вытерла глаза краем передника.

Огромный белый зал Благородного собрания, с хорами и двумя рядами колонн, был залит светом и полон народу так, что у Пети закружилась голова. Каждому ребёнку дали в руки жезл с гербом одной из губерний — их было шестьдесят. Пете достался жезл с орлом, парящим над синим морем. Только потом он узнал, что это герб Астраханской губернии, и что персидскому царевичу, в сущности, туда и дорога.

Детей выстроили в дальнем конце зала, и они парами пошли через весь зал к возвышению, где сидел император с семьёй. У возвышения пары расходились направо и налево и становились в один ряд. По знаку все разом склонили жезлы с гербами перед Николаем. Шестьдесят губерний поклонились одному человеку. Апофеоз самодержавия вышел очень эффектным, и Николай был в восторге.

Где-то в этом ряду, через нескольких детей от Пети, стоял мальчик с гербом Полтавской губернии. Петя этого не заметил. Он смотрел на императора — огромного, затянутого в мундир, с выпуклыми светлыми глазами, которые глядели поверх всех голов, как будто людей в зале не было, а были только ряды.

Потом детей повели обратно, в глубь зала, и тут что-то случилось. Засуетились камергеры в расшитых золотом мундирах, кто-то тронул Петю за плечо, и его вывели из ряда. Дядя, князь Гагарин, одетый тунгусом, — Петя не мог наглядеться на его кафтан из тонкой замши, на лук и колчан со стрелами, — подхватил его на руки и поставил на возвышение, прямо перед царём.

Почему именно его — потому ли, что он был самый маленький во всей процессии, или потому, что круглое лицо с кудрями казалось особенно потешным под высокой смушковой шапкой, — этого Петя так никогда и не узнал. Николай взял его за руку, подвёл к цесаревне

Марии Александровне, жене наследника, которая ждала тогда третьего ребёнка, и сказал с той казарменной шутливостью, которую любил:

— Вот каких молодцов мне нужно!

Цесаревна покраснела. Петя этого не понял, но запомнил, потому что взрослые вокруг засмеялись. Николай наклонился к нему:

— Хочешь конфет?

Петя подумал и ответил честно, что конфет не хочет, а хочет крендельков, тех, что подают к чаю по большим праздникам. Николай подозвал лакея, взял у него поднос и сам высыпал полный поднос крендельков Пете в шапку.

— Я отвезу их Саше, — объяснил Петя императору.

Этого никто не ждал, и это тоже вызвало смех.

Тут к нему подошёл брат государя, великий князь Михаил Павлович — широкий, громкоголосый, похожий на фельдфебеля, считавшийся при дворе остряком.

— Когда ты пай-дитя, тебя гладят вот так, — сказал он и провёл большой ладонью по Петину лицу сверху вниз. — А когда шалишь, тебя гладят вот эдак. — И повёл ладонью снизу вверх, сильно, с нажимом, задирая нос, который у Пети и без того уже проявлял склонность расти кверху.

Было больно и, главное, обидно, и при всех. Петя изо всех сил старался не заплакать, но слёзы всё-таки выступили. Дамы вокруг зашумели, заступаясь. Мария Александровна взяла его к себе, усадила рядом на высокий бархатный стул с золочёной спинкой и больше не отпускала.

Музыка гремела где-то внизу, мимо возвышения плыли пары: сарафаны, черкески, греческие хитоны, монгольские халаты — вся империя в лицах, сшитая московскими портнихами. Петя сидел на бархатном стуле, прижимая к себе шапку с крендельками. Потом глаза у него стали слипаться, и он сам не заметил, как положил голову на колени цесаревны и уснул. Мария Александровна, ему потом говорили, так и не поднялась с места до конца бала.

У подъезда, пока дожидались кареты, родственники передавали его из рук в руки, гладили по голове, целовали и повторяли:

— Петя, ты назначен пажем!

Он не знал, что такое паж. Он знал только, что очень хочет спать и что шапку нужно держать прямо, а то крендельки высыплются.

— Я не паж, — сказал он сердито, — я домой хочу.

Быть записанным кандидатом в Пажеский корпус считалось огромной милостью. Николай редко оказывал её московскому дворянству. Алексей Петрович был в восторге и в карете уже мечтал вслух о блестящей придворной карьере, которую сделает сын. Елизавета Марковна, когда потом рассказывала об этом гостям, никогда не забывала прибавить:

— А всё это потому, что я благословила его перед балом!

Назимова заказала акварельный портрет: она сама в костюме персидской царицы, а рядом маленький царевич в смушковой шапке. Портрет этот потом много лет висел у неё в гостиной.

Дома Саша не спал — ждал. Петя высыпал ему крендельки из шапки прямо на одеяло. Половина раскрошилась по дороге, многих не досчитались. Но когда Саше рассказали, как всю ночь Петя беспокоился о шапке, он крепко обнял брата и долго не отпускал.

Ульяна раздела Петю, уложила, перекрестила.

— Ну что, царевич? Видел царя?

— Видел, — сказал Петя, уже засыпая. — Он высокий. И у него глаза... как у папеньки, когда сердится.

Ульяна ничего не ответила. Она посидела ещё немного у кровати в темноте и, когда мальчик задышал ровно, тихонько, без слов, запела ту самую песню про сон, что ходит под окнами.

Через семьдесят один год в этом самом белом зале с двумя рядами колонн будет стоять гроб, и люди с чёрными знамёнами будут идти мимо него весь день и всю ночь. Но до этого было ещё очень далеко.



## Глава 2. Портной Мирабо

*Москва, Калужская дорога, Никольское, 1848–1855*

Мосье Пулэн явился в дом с охотничьей собакой Трезором, с наполеоновским кофейником, с потёртым чемоданом французских учебников и с репутацией. Он только что закончил воспитание младшего сына романиста Загоскина, а Серёжа Загоскин считался в Старой Конюшенной таким благовоспитанным молодым человеком, что князь Алексей Петрович не колеблясь положил гувернёру шестьсот рублей в год — плату по тем временам высокую. Для русских предметов взяли задёшево студента-юриста Николая Павловича Смирнова. Так было принято: француз стоил дорого и учил манерам, русский стоил дёшево и учил всему остальному.

Пулэн, как многие московские гувернёры тех лет, был обломком великой армии. Он служил Наполеону в Испании, был ранен и, как гордился сам, чувствовал, как тёплая кровь льётся в сапог. Каким ветром его занесло в Москву и почему он здесь остался, не знал никто, и он не рассказывал. Он был сед, зачёсывал волосы на расползающуюся плешь, прыскался одеколоном и по утрам, надев фрак, вёл мальчиков вниз здороваться с родителями.

Отца и мачеху заставляли за утранным кофе.

— Bonjour, mon cher papa.

— Bonjour, ma chère maman.

Мальчики целовали руки. Пулэн выделял сложный элегантный пируэт:

— Bonjour, monsieur le prince. Bonjour, madame la princesse.

И все трое поднимались наверх. Церемония повторялась каждое утро, и Петя через много лет мог воспроизвести пируэт Пулэна с точностью до поворота каблука.

Наверху Пулэн снимал фрак, облачался в халат, надевал кожаную шапочку, погружался в кресло и говорил: «Скажите урок». Урок полагалось сказывать наизусть — от места, отмеченного ногтем, до другого места, отмеченного ногтем. Грамматика Ноэля и Шапсаля, памятная не одному поколению русских детей, начиналась вопросом: «Что такое грамматика?» — и с ней дело шло. Но учебник истории открывался предисловием о пользе этой науки. «Государь находит в истории примеры великодушия... Полководец изучает по ней благородное искусство ратного дела...» Всё шло гладко, пока не доходило до юриспруденции. «Юриисконсульт находит в истории...» — и что именно находит юриисконсульт, они так и не могли запомнить. Само слово стояло поперёк горла.

— À genoux, gros pouff! — кричал Пулэн Пете, что значило «на колени, толстячок». — À genoux, grand dada! — Саше, «на колени, лошадка».

Мальчики становились на колени и обливались слезами над юриисконсультом. Римляны к тому времени уже выучили, бросали, «как Бренн», палки на чашки весов, когда Ульяна отвечивала на кухне рис, и, подражая Курцию, ради спасения отечества прыгали со стола в бездну. Но Пулэн всё возвращал их к предисловию. Немудрено, что оба брата на всю жизнь сохранили отвращение к юриспруденции.

В географии им повезло: первые двадцать страниц в книжке были вырваны — вероятно, благонравным Серёжей Загоскиным — и уроки начинались прямо со слов «Из рек, орошающих Францию...».

Колени были не самым худшим. На высоком шкафу в классной лежала розга. Когда надежды на предисловие или на диалоги о добродетели больше не оставалось, Пулэн доставал её, хватал одного из мальчиков, зажимал голову под левой рукой и начинал хлестать. Мальчик вырывался, Пулэн поворачивался за ним, и по комнате под мерный свист розги шёл отчаянный вальс.

Эти вальсы доводили до отчаяния сестру Лену. Она вышла из Екатерининского института и жила теперь внизу, как раз под классной. Однажды, услышав над головой плач, она не

выдержала, бросилась в кабинет к отцу и, плача, стала кричать, что он отдал братьев мачехе, а та сдала их на произвол отставного французского барабанщика.

— Конечно, здесь некому заступиться за них! Но я не могу видеть, как барабанщик обращается с моими братьями!

Отец, захваченный врасплох, смешался, начал было бранить Лену и кончил тем, что похвалил её за любовь к братьям. После этого вальс стал повторяться всё реже. Розга ещё долго лежала на шкафу. Пулэн иногда снимал её и, поднося к носам, выкрикивал: «Nuque! Nuque!» — а потом она осталась только для обучения Трезора правилам благопристойности.

Покончив с уроками, Пулэн в одну минуту превращался из свирепого педагога в весёлого товарища. Он водил их гулять и рассказывал без конца. Дальше первых страниц синтаксиса они с ним так и не ушли, но очень скоро стали говорить по-французски свободно и даже думать по-французски. Писать правильно научились по его диктовке: он продиктовал им полкниги мифологии и исправлял ошибки по книге, никогда не объясняя, почему пишется так, а не иначе.

После обеда приходил Смирнов. Студент учил грамматику, арифметику и каждый день диктовал по странице из русской истории. Так, незаметно, они научились правильно писать и по-русски.

Лучшим днём было воскресенье.

По воскресеньям отец, мачеха и все взрослые уезжали обедать к генеральше Тимофеевой, жене того самого «корпусного». Иногда в этот день отпускали и Пулэна со Смирновым, и мальчики оставались на одну Ульяну. Наскоро пообедав, они бежали в парадную залу, и туда скоро сходилась молодёжь из девичьей. Затевали жмурки, коршуна, горелки. Потом появлялся мастер на все руки Тихон со скрипкой.

Начиналась пляска. Не та скучная мерная пляска под команду танцмейстера-француза «на резиновых ножках», которой их учили по программе воспитания, а настоящая, живая. Пар двадцать кружилось по зале, и это было только вступление. Потом Тихон отдавал скрипку кому-нибудь из стариков, выходил на середину, и скрипка заводила казачка.

Тихон плясал так, что в дверях залы показывались повара и даже кучера. Он выворачивал ногами фигуры, которых не было ни в одном учебнике танцев, падал вприсядку, вскакивал, бил ладонью по голенищу, и вся дворня хлопала в такт.

— Это что за танец? — спросил однажды Петя у Ульяны, задыхаясь, сам весь красный от беготни.

— Казачок. Казацкий, стало быть. Малороссийский.

— Мамин?

Ульяна посмотрела на него, как смотрела всегда, когда он говорил о матери.

— Мамин, — сказала она. — Барыня, бывало, как увидит, так и сама бы пошла.

Петя вылез на середину залы. Ноги его не слушались, он путался, падал, вскакивал. Дворня хохотала, но по-доброму. Тихон, не переставая плясать, подхватил его под руки и прошёл с ним круг. Саша плясать не стал — он был старше, ему было стыдно. Он стоял у стены и смотрел на брата.

Наверх в такие воскресенья их загоняли только к самому возвращению кареты. Ульяна потом долго приглаживала им волосы мокрой щёткой, чтобы мачеха ничего не заметила.

Каждую весну дом снимался с места.

Ещё зимой отец садился за стол и писал приказ бурмистру своего села Никольского Калужской губернии, Мещовского уезда, что на реке Серене: как только установится санный путь, отправить в Москву двадцать пять крестьянских подвод с овсом, пшеницей, рожью, с мороженой птицей. Москва кормилась деревней. А весной деревня принимала Москву обратно.

Сначала уходил пешком обоз дворни — сорок с лишним человек, с узлами, с подводами, за двести тридцать вёрст. Потом, через несколько дней, трогалась семья. Из сарая выкатывали огромную старую карету. Отец каждый год говорил одно и то же:

— Это твоей покойной матери я купил эту карету в Варшаве, варшавской работы.

В карету набивались мачеха, Лена, маленькая Полянка, мачехины сёстры и горничная Аксиныя, шесть или семь человек. За каретой шла коляска, в которую лезли Пулэн, Смирнов и мальчики. Отцовский тарантас обыкновенно оставался во дворе: князь всегда находил причину задержаться в Москве ещё на несколько дней.

— Умоляю тебя, Alexis, не ходи в клуб, — шептала мачеха на прощание.

Ехали пять дней, не спеша. Двадцать вёрст утром, до жары, двадцать после полудня. Где начинался спуск или подъём, экипажи шли шагом, мальчики выскакивали и шли пешком, забегали в лес за земляникой, обгоняли богомольцев и всякий пеший люд, бредущий из деревни в деревню. На постоянных дворах сначала посылали на разведку Тихона, и, только сторговавшись о цене овса и сена, въезжали в просторный топкий двор.

— Ты уж, любезнейший, должен уважать княгиню, всякий год к тебе заезжаю, — уверяла мачеха хозяина.

— Известно, матушка, вашего сиятельства как не уважать, — уверял в свою очередь дворник, и торговались до тошноты.

Повар Андрей покупал курицу, варил суп, на столе появлялся самовар и большие кринки цельного молока. Мальчики бегали по двору, где всё было новое: свиньи, увязшие по уши в жидкой грязи, телята, утопающие в навозе куры, деревенские ребятишки, с которыми играть не позволяли. Ночью на полу стелили свежее сено, покрывали простынями и шалами, и весь кочующий табор засыпал.

В Малоярославце ночевали всегда, и всегда Пулэн вёл мальчиков на поле сражения.

Он рассказывал так подробно, будто сам был тут в двенадцатом году. Вот здесь русские пытались задержать Наполеона, отступавшего из Москвы, и великая армия опрокинула их и прорвалась сквозь линии. Вон там левое крыло опрокинуло русскую пехоту. А вот здесь сам император повёл старую гвардию против центра Кутузова и покрыл себя неувядаемой славой.

— А тут, — Пулэн махнул тростью в сторону дальнего холма, — тут казаки пробовали обойти нас. *Les cosaques!* — Он произнёс это с уважением и неприязнью одновременно, как говорят о противнике, которого боялись. — Они налетали, как ветер, и исчезали, как ветер. Но маршал Даву их разбил и гнал вон до того холма.

— Какие казаки? — спросил Петя. — Запорожские?

Пулэн посмотрел на него удивлённо.

— Запорожских тогда уже не было, *mon petit*. Донские. Но все казаки одинаковы. Дикие люди. Никакой дисциплины. Каждый воюет как хочет.

— А побеждают? — спросил Саша.

Пулэн помолчал, глядя на холм.

— Иногда, — неохотно признал он. — Иногда побеждают.

Однажды поехали по старой Калужской дороге и остановились в Тарутине. Здесь Пулэн был не так красноречив. Здесь, после кровавой битвы, Наполеону, собиравшемуся идти на юг, пришлось повернуть обратно на Смоленск по разорённой дороге. По словам Пулэна выходило, что всё это случилось только оттого, что императора обманули маршалы. Иначе он пошёл бы на Киев и Одессу, и его знамёна развевались бы над Чёрным морем.

За Калугой большая дорога была невероятной ширины, обсажена двумя рядами берёз и совершенно ужасна. В гору, под гору, а под горой в любую погоду стояла топь из жидкой красной глины. Был, конечно, и мостик, но на него никто не отваживался въезжать: и ямские

тройки, и тяжёлые господские экипажи всегда объезжали мост, высаживали пассажиров и с криком и гиканьем въезжали прямо в топь.

По этой дороге тянулись чумацкие обозы.

Петя увидел их впервые в ту весну, когда ему было девять лет. Навстречу, медленно, со скрипом немазанных колёс, шли длинные возы, запряжённые серыми круторогими волами. Возы были гружены солью, и соль белела сквозь рогожи. Рядом с волами шли люди в холщовых рубахах и холщовых штанах, вымазанных дёгтем до черноты, в широких соломенных брылях, с длинными кнутами. Шли не торопясь, и никто ими не командовал. Волы шли так же, как люди, будто им тоже некуда было спешить.

Дворня, обгонявшая обоз, оживилась. Это было у них любимое дорожное развлечение.

— Эй, хохол! — закричал кто-то из молодых лакеев с подводы. — Чи хохол мазепа ваксу съел?

— Мазепа! — подхватили с другой подводы. — Хохол-мазепка!

Чумаки отвечали, не оборачиваясь, руганью, густой и непонятной. Дворня хохотала.

Петя стоял у колеса застрявшей коляски и смотрел. Ему стало жарко и стыдно, он сам не понимал отчего. Потом понял. Хохлушкой Ульяна называла его мать. Хохлацкими — отец называл песни, которые мать пела. Эти люди, над которыми смеялась дворня, были мамыны.

Один из чумаков, старик с седыми усами, свисавшими ниже подбородка, остановился у воза поправить ярмо. Петя подошёл. Пулэн был занят коляской, Смирнов ушёл вперёд, никто не смотрел.

— Дедушка, — сказал Петя, — а вы откуда?

Старик поднял на него глаза — светлые, выцветшие, спокойные — и оглядел с головы до ног: курточку, панамку, начищенные башмаки.

— З-під Полтави, паничу.

— А куда соль везёте?

— До Калуги, а там як Бог дасть.

— А кто у вас главный? Барин?

Старик усмехнулся в усы.

— Нема в нас пана. Отаман.

— Кто его назначил?

— Хто ж його призначить? Самі обрали. Зібралась валка, порадилися, обрали. Шлях довгий, без отамана не можна. А як не до вподоби буде — на другий рік іншого оберемо.

Петя смотрел на него во все глаза. Это было как в бабушкиной сказке про Сечь. Только старик был живой, пах дёгтем и потом, и волы его жевали жвачку в двух шагах.

— А мою маму звали Сулима, — вдруг сказал он. — Она тоже была... оттуда.

Старик помолчал и, кажется, в первый раз посмотрел на него внимательно.

— Сулима, — повторил он. — Чув. Козацький рід. Давній. — И, затянув ремень на ярме, добавил что-то, чего Петя не понял, но запомнил по звуку: — Ну то й рости, козаче. Тільки не будь паном.

Сзади закричали: коляску вытащили, звали садиться. Петя побежал. Когда он оглянулся, обоз уже уходил вниз, к топи, и старик шёл рядом с волами, не оборачиваясь. Кто-то из чумаков в хвосте затянул песню, протяжную, без конца, и ветер донёс несколько слов:

*Ой, чумаче, чумаче, Життя твоє собаче...*

— Что ты там делал? — строго спросил Пулэн.

— Ничего, — сказал Петя. — Спрашивал, куда соль везут.

Вечером на постоялом дворе он пересказал всё Саше шёпотом, лёжа на сене. Саша выслушал и долго молчал.

— Валка — это артель, — сказал он наконец. Он прочёл это слово где-то в книжке. — У них артель. Они сами себе отаман.

— Сами себе, — повторил Петя, засыпая. — А мы?  
Саша не ответил.

За Калугой начинался огромный сосновый бор. Семь вёрст до перевоза через Угру дорога шла по сыпучим пескам, лошади и экипажи вязли чуть не по ступицу, и эти семь вёрст все шли пешком.

Все шли врассыпную, а Петя любил уходить один, далеко вперёд. Вековые сосны надвигались со всех сторон, рыжие стволы уходили в небо, под ногами пружинила хвоя. Где-нибудь в ложбине из-под корней бил ключ холодной воды, и над ним кто-то оставил для прохожих берестяной ковшик на расщеплённой палке. Петя пил ледяную воду и шёл дальше, один, пока не выбирался из бора и пока экипажи не нагоняли его на лучшей дороге.

Он не умел бы тогда сказать, что с ним происходит в этом лесу. Он чувствовал только, что лес живёт своей огромной жизнью, которой нет до него никакого дела, и что жизнь эта бесконечна. Через много лет он поймёт, что именно здесь, на семи верстах калужского песка, началась его любовь к природе.

За бором был перевоз через Угру на пароме и дорога в гору, к деревне, такой нищей, какой он не видел нигде.

— Удельные, — объяснили ему. Это значило, что деревня принадлежала не помещику, а царской фамилии.

Никольское стояло на высоком берегу Серены. Высокие известняковые холмы спускались к реке оврагами, за рекой расстилались заливные луга, темнели леса, а с вершины холмов можно было насчитать сразу не меньше семи церквей. С балкона главного дома видны были остатки земляной Серенской крепости, где русские когда-то отсиживались от татар, и за ними — жёлтое море хлебов до самого горизонта.

Мальчики с Пулэном жили во флигеле. Отца летом не было: он всё время ездил по смотрам своего округа внутренней стражи и являлся в Никольское к августу, ко дню своего рождения. Мачеха, особенно с тех пор как у неё родилась дочь Полина, на пасынков почти не обращала внимания. Пулэн купался с ними, увлекался грибами, охотился за дроздами и даже за воробьями, и старался выбить из них страх темноты. Клал под скамейку в дальнем конце сада свой неразлучный складной нож со штопором и, когда стемнеет, посылал за ним. Однажды он на их глазах стал героем: вытащил из реки тонувшего Сашу.

В одной из деревень, где был вырыт большой пруд с золотыми карасями, жила Петина кормилица Василиса. Семья её была из беднейших: муж, мальчонка-помощник и девочка, молочная сестра Пети. Василиса была раскольница. Когда Петя приходил, она накрывала стол белоснежной скатертью — чистота у раскольников была почти религией, — ставила сливки, яйца, мёд, яблоки на сверкающих деревянных тарелках и говорила с ним, как с родным сыном. Больше угостить было нечем. Но он уходил от неё с таким чувством, будто его накормили досыта.

Зимой, когда с подводами из Никольского приезжали мужики, кто-нибудь из слуг украдкой пробирался в классную: «Князинька, бегите в переднюю, гостинцы привезли от кормилицы». Бородатый мужик вручал узелок в пёстром ситцевом платке — ржаные лепёшки, полдюжины крутых яиц, несколько яблок. «Уж не замёрзли ли яблоки? Всю дорогу за пазухой держал». Петя краснел и бормотал: «Скажи Василисе, что я её целую». Платок полагалось вернуть — его хотели взять обратно. Петя аккуратно складывал поношенный платок и мучился, что ему нечего послать Василисе, кроме этих слов.

Княжеский титул в доме Кропоткиных произносили к месту и не к месту, по всякому поводу. «Князь велел», «князь не любит», «княжеская карета», «князья Кропоткины не плачут». Пулэн, сам когда-то воевавший за империю, рождённую из революции, по-видимому, начинал от этого раздражаться.

Революции он вообще не любил. Он выписывал старые номера орлеанистского журнала «Illustration» от приятеля-француза, красильщика с Арбата, и мальчики знали все картинки наизусть. Долго потом революция представлялась Пете не иначе как Смертью верхом на коне, с красным флагом в одной руке и с косой в другой — так она была нарисована в номере про сорок восьмой год. Но однажды в ненастный день, когда за окном флигеля лило и в саду всё раскисло, Пулэн, наслушавшись за обедом «князя» и «княгини», вдруг стал рассказывать о другой революции, о той, большой, восемьдесят девятого года.

Подробностей Петя потом не помнил. Запомнилось одно.

— Тогда, — говорил Пулэн, раскуривая трубку, — многие знатные господа сами отказались от своих титулов. Граф Мирабо, например. Знаменитый граф Мирабо. Он сказал: я больше не граф, я гражданин. И чтобы показать всем, как он презирает эти аристократические претензии, он открыл мастерскую. Портняжную. И повесил над дверью вывеску: «Портной Мирабо».

— Настоящую? — спросил Петя.

— Настоящую. Большими буквами. — Пулэн показал руками. — Tailleur Mirabeau.

Правда это или нет, Пулэн не знал, и Петя никогда потом этого не проверял. Ему было всё равно. Он лежал в ту ночь без сна и думал, какое ремесло выбрал бы он сам, чтобы повесить вывеску: «Таких-то дел мастер Кропоткин». Сапожник? Столяр? Часовщик? Он перебирал ремёсла, как другие мальчики перебирают чины, и ни одно не казалось ему недостойным. Недостойным казалось другое — то, что у него уже есть, ничем не заслуженное, и что все вокруг произносят с поклоном.

Отец не был жестоким помещиком. Слуги и мужики даже считали его хорошим баринком. Это Петя понял только потом, когда узнал, что делалось в других усадьбах.

Пятьдесят человек прислуги в Москве и около шестидесяти в деревне не считалось тогда чем-то особенным. Был свой оркестр — дворовые, которые днём служили лакеями, кучерами, поварами, а вечером брали в руки скрипки, флейты, тромбоны. Их так и звали по инструментам: «скрипка», «тромбон». Настройщик Макар был одновременно помощником дворецкого и играл на флейте.

Гроза начиналась обыкновенно с пустяка.

В тот день Макар разбил несколько тарелок. Мачеха утром сказала об этом отцу. Отец потребовал Ульяну и счета. Голос его гремел на весь дом.

— Фрол, позови княгиню! — И когда мачеха вошла: — И ты заодно с хамовым отродьем! Ты заступаешься за них!

Отец сел проверять счета и вспомнил о сене. Фрола послали перевешивать сено, мачехе велели присутствовать при взвешивании. Выходило, что исчезло много пудов. Потом выходило, что сена больше, чем следует, и тогда отец набросился на кучера за то, что тот недодаёт лошадям корма. Кучер клялся всеми святыми, Фрол призывал в свидетельницы Богородицу. Отец ударил кучера. Тот твердил одно: «Ваше сиятельство изволили ошибиться». Отец кричал, что хамово отродье заслуживает всяческого наказания.

Потом позвали Макара и высчитали ему все прегрешения: на прошлой неделе напился, вчера, наверное, был пьян тоже, потому и разбил тарелки.

И вдруг — тишина. Отец сел за стол и написал записку.

— Послать Макара с этой запиской на съезжую. Там ему закатят сто розог. Дом оцепенел.

Пробило четыре, все сошли к обеду. За столом сидело десять человек, за каждым стулом стоял лакей — «скрипка» или «тромбон» — с чистой тарелкой в левой руке. Никто не дотронулся до супа. Макара не было.

— Где Макар? — спросила мачеха. — Позвать его.

Макар не являлся. Приказ повторили. Наконец он вошёл — бледный, с искажённым лицом, с опущенными глазами — и встал на своё место за стулом. Отец смотрел в тарелку. Мачеха, видя, что никто не ест, решила оживить детей.

— Не находите ли вы, дети, — сказала она по-французски, — что суп сегодня превосходный?

Петю душили слёзы. Он не помнил, как досидел до конца обеда. Как только встали из-за стола, он выбежал, догнал Макара в тёмном коридоре, у поворота к людской, схватил его руку и хотел поцеловать.

Макар вырвал руку. Он посмотрел на мальчика сверху — не зло, а устало и как будто с вопросом.

— Оставь меня. Небось, когда вырастешь, и ты такой же будешь?

— Нет! — закричал Петя. — Нет, никогда!

Макар ничего не ответил и ушёл в людскую. Петя остался в коридоре один. Он стоял в темноте и повторял про себя «нет, никогда», как клятву, хотя никто её не слышал.

Сечь крепостных было тогда делом обыкновенным и входило в обязанности полиции и пожарных. Об этом говорили спокойно, за обедом, как о погоде.

Были истории и страшнее.

Портной Андрей полюбил девушку, принадлежавшую соседнему помещику. Он надеялся, что отец отпустит его на оброк, что, работая усердно, он накопит денег и выкупит её на волю. Женись он на ней так, она стала бы крепостной Кропоткиных. Андрей знал, что ему могут приказывать жениться на одной из своих горничных, и заранее покумился с ней: кумовьям по закону венчаться было нельзя. Дворовые часто так спасались от свадеб по приказу. Случилось как раз то, чего они боялись. Их позвали в кабинет и велели венчаться.

— Мы всегда рады исполнить вашу волю, — ответили они, — да мы несколько недель тому назад вместе крестили.

Андрей сказал и о своём намерении. Кончилось тем, что его сдали в солдаты.

Солдатская служба тогда продолжалась двадцать пять лет. Стать солдатом значило навсегда оторваться от родной деревни и попасть во власть командира вроде генерала Тимофеева. Когда кого-нибудь из дворовых сдавали в рекруты, его заковывали и держали в конторе под караулом, чтобы он не наложил на себя руки. Потом к дверям конторы подъезжала телега. Сдаваемого выводили, вся дворня собиралась вокруг. Он кланялся всем в пояс и просил простить вольные и невольные прегрешения, а мать и родственники голосили, как по покойнику: «На кого ты нас покинул? Кто порадеет о нас на чужой сторонке?..»

Горничная Поля, Пелагея, в детстве была отдана в магазин и выучилась тончайшему вышиванию. В Никольском её пальцы стояли в комнате Лены, и Поля по манерам и разговору скорее походила на барышню, чем на горничную. Когда стало видно, что у неё будет ребёнок, мачеха закричала: «Не хочу больше иметь в доме эту тварь!» Слёзы Лены не помогли. Поле обрезали косы и сослали на скотный двор, а так как она в то время вышивала удивительную юбку, то докончить её велели там же, в грязной избе, у крошечного оконца. Поля докончила юбку и вышила ещё много другого, надеясь на прощение. Прощения не было. Отец ребёнка, дворовый соседа, просил позволения жениться, но выкупить её ему было не на что. «Дворян-

ские манеры» Поли сочли отягчающим обстоятельством. Её выдали силой за Фильку Косолапого, маленького форейтора, которому в детстве лошадь разбила лицо и искалечила ноги, и обоих отправили на крестьянскую работу в рязанскую деревню.

Был ещё Герасим Круглов. Отец, гордясь собой, отдал способного мальчика из крестьян в Московское земледельческое училище. Круглов кончил его с золотой медалью. Директор умолял отца дать Круглову вольную и пустить в университет, куда крепостных не принимали.

— Круглов, наверное, будет замечательным человеком, — говорил директор. — Быть может, гордостью России. Вам будет принадлежать честь...

— Он мне надобен в моей деревне, — отвечал отец.

В деревне Круглов снял план имения, после чего ему велели сидеть в лакейской и стоять с тарелкой за обедом. Мачеха находила особое удовольствие его унижать. Однажды осенью ветер распахнул ворота. Мачеха увидела проходившего Круглова.

— Гараська, ступай, запри ворота!

Это была последняя капля.

— На то у вас есть дворник, — ответил Круглов и пошёл своей дорогой.

Мачеха вбежала в кабинет в слезах: «Ваши люди оскорбляют меня в вашем доме!» Круглова тут же заковали и посадили под караул, чтобы сдать в солдаты. Прощание с ним стариков родителей Петя потом всю жизнь вспоминал как одну из самых тяжёлых сцен, которые ему пришлось видеть.

Тогда ему казалось, что Круглов пропал навсегда. Он не знал ещё, что Круглова ждала другая судьба и что через несколько лет сама мачеха поедет к «Гараське» на поклон.

Человеческие чувства в крепостных не признавались и даже не подозревались. Когда несколько лет спустя Тургенев напечатал «Муму», многие читательницы, рыдавшие над французскими романами, искренне изумлялись: «Неужели крепостные любят совсем как мы?»

Петя не изумлялся. Он вырос в людской.

В тёмном коридоре чья-то рука всё так же ласково касалась его головы. Ульяна всё так же крестила на ночь. А в Никольском, проходя мимо скотного двора, он иногда видел в маленьком оконце склонённую над пальцами голову с коротко остриженными волосами и шёл дальше быстрее, потому что не знал, что сказать.

В 1853 году Пулэну дали отставку. Петя к тому времени уже учился в Первой московской гимназии на Пречистенке, а Сашу отдали в кадетский корпус в Лефортово, за семь вёрст от дома. Главным человеком для Пети теперь стал Смирнов. Студент водил его по Москве и показывал дом на Никитском бульваре, где недавно умер Гоголь, дом, где жил Герцен, давал читать то, чего Пулэн не давал. От Смирнова, от русских книг, от всего, что тогда носилось в воздухе, Пулэнова история о Мирабо проросла.

Петя начал писать повести. Ему шёл двенадцатый год. На первой же рукописи, старательно, круглым детским почерком, он вывел: «П. Кропоткин». Без титула.

Так он подписывался и потом, на военной службе, несмотря на замечания начальства.

Мальчику шёл тринадцатый год, когда умер император Николай.

Поздно вечером 18 февраля 1855 года по домам ходили городовые и разносили бюллетени: государь болен, население приглашается в церкви молиться о его выздоровлении. Царь к тому времени уже умер — Петербург был соединён с Москвой телеграфом, и власти знали. Но о болезни до последней минуты не было сказано ни слова, и начальство сочло нужным подготовить народ постепенно.

Все пошли в церковь и молились очень усердно. На другой день, в субботу, повторилось то же. Даже в воскресенье утром вышли бюллетени о состоянии здоровья. Только в полдень слуги, вернувшиеся со Смоленского рынка, принесли весть, что государь скончался.

Ужас охватил дом и соседние дома. Передавали, что народ на базаре держит себя подозрительно — не только не выражает сожаления, но говорит опасное. Взрослые разговаривали шёпотом, мачеха то и дело твердила по-французски:

— Ah, ne parlez pas devant les gens! Не говорите при людях!

Петя прошёл через столовую, через буфетную, спустился по чёрной лестнице. Внизу, у двери в людскую, он остановился. Из-за двери доносился шёпот, быстрый, оживлённый, совсем не похожий на шёпот господ наверху. Говорили несколько голосов сразу, и одно слово повторялось чаще других.

— ...воля, говорят, теперь будет...

— ...молодой-то, сказывают, не такой...

— ...тише ты!..

Он узнал голос Макара. Потом голос Фрола, осторожный, старческий: «Не нашего ума дело». И снова Макара, громче: «А чьего же, Фрол Фадееч? Чьего, как не нашего?»

Петя стоял за дверью и не входил. Он вдруг понял, что если войдёт, они замолчат. При нём, при княжиче, — замолчат. Он был для них оттуда, сверху, где говорят «не при людях».

Он постоял ещё и тихо поднялся обратно.

Летом в Никольском дважды в неделю гоняли нарочного в уездный город за «Московскими ведомостями». Когда тот возвращался, газеты выхватывали у него из рук раньше, чем он успевал слезть с лошади, и Лена читала их всем вслух. Новости тут же уходили в людскую, оттуда в кухню, в контору, к священнику, к крестьянам. Следили за Севастополем, за каждым аршином разрушенных бастионов. Когда пришло донесение о сдаче Севастополя, о страшных потерях последних трёх дней, плакали все — господа и слуги, в доме и в людской. Ходили как потерявшие близкого человека.

О смерти Николая не плакал никто. Ни в доме, ни у соседей.



## Глава 3. Временник

*Москва, Никольское, 1852–1857*

Осенью 1852 года Сашу отдали в Первый московский кадетский корпус, в Лефортово.

До корпуса от Старой Конюшенной было вёрст семь. Лошадей в доме держали десяток, но всегда как-то выходило, что в ту субботу, когда следовало послать сани за братом, все лошади оказывались в разгоне. Мачеха пожимала плечами: что же делать, у князя смотр, у княгини визиты, кучер болен. Саша приезжал домой на Рождество, на Пасху и изредка в воскресенье, если кто-нибудь из знакомых ехал в ту сторону и соглашался его захватить.

Петя остался один.

Это было непривычно и страшно. С тех пор как он себя помнил, рядом всегда был Саша: в одной детской, во флигеле у мадам Бурман, за одним столом у Пулэна, на одних коленях. Саша был на шестнадцать месяцев старше, выше, сильнее и знал больше. Саша первым выучил наизусть Пушкина и первым начал писать стихи. Саша объяснял, почему горит свеча и отчего бывает гроза. Без Саши в доме стало тихо и пусто, как бывает в комнате, откуда вынесли рояль.

Пулэну в том же году дали отставку. Вместо него на одну зиму взяли учителя-немца, Карла Ивановича, одного из тех идеалистов, что нередко встречались тогда среди немцев. Карл Иванович читал вслух Шиллера, наивно и восторженно, размахивая рукой, и голос его дрожал на «Разбойниках». Петя слушал, раскрыв рот. Через год Карл Иванович ушёл, и больше о нём никто ничего не слышал.

Осенью 1853 года Петю отдали в Первую московскую гимназию на Пречистенке, почти рядом с домом. Приняли сразу в третий класс. Ему было одиннадцать лет, и вокруг сидели мальчики на два, на три года старше.

Учили бессмысленно. Геометрию преподавал некто Невенгловский, шутливо-грубый с учениками. Он чертил на доске фигуры, которых никто не понимал, и класс заучивал теоремы Эвклида наизусть по книжке. Пете Невенгловский почему-то ставил пятёрки. Через четыре года, когда в Пажеском корпусе он снова сел за геометрию, всё, с самых первых определений, оказалось для него совершенно новым.

Русский язык вёл Магницкий, гроза всего класса. Пете он ставил пятёрки за сочинения до самого экзамена, а на экзамене Петя жестоко срезался на каких-то деепричастиях и получил двойку.

С историей было ещё хуже. В класс вносили доску, разграфлённую на квадратики, — сто квадратиков на столетие, по квадратику на год. В квадратах стояли значки: кружочки, палочки, крестики. Учитель брал трость, тыкал в палочку и грозно спрашивал: «Григорьев, это что?» Палочка значила вступление на престол, кружочек — войну. Отвечать надо было сразу, и все путали века, перевирали войны, и единицы с двойками так и сыпались в журнал. У Пети по истории весь год стояла двойка.

На экзамене ему достались царствование Александра Первого и двенадцатый год.

Он встал и заговорил. О Малоярославце и о Тарутине. О старой гвардии, идущей на центр Кутузова, об императоре, обманутом маршалами, о казаках, налетающих, как ветер. Он рассказывал так, как рассказывал Пулэн на поле боя, — подробно, с жестами, вот здесь, а вон там. Экзаменаторы переглянулись. Один отложил перо. Когда Петя кончил, ему единогласно поставили «пять», да ещё с плюсом, уничтожив все следы годовых двоек.

Пулэн, сам того не зная, отомстил гимназии за «юрисконсульта».

Лучшее, что Петя вынес из гимназии, сделано было не на уроке. Вместе с другом Николаевым они сочинили «Географию нашей гимназии» — целый курс, с картами и планами. Третий

класс описывался в ней так: «С юга он омывается морем — Пречистенкой, на востоке граничит с государством второклассников, а с запада прилегает к обширному государству четвероклассников, говорящих на чужестранном языке, именуемом латынью». Описывалась «поверхность» класса: гора — кафедра, вулкан — классная доска, долины между партами и их обитатели, смиренные на первой скамье и всё более буйные по мере удаления от главного залива, куда приплывали чужестранцы, сиречь учителя, несущие страх и смятение. Была и история страны: как один чужестранец был свергнут с трона вместе с самим тронным злокозненным обществом горных стрелков, которые прорыли канал между горой-кафедрой и стеной — попросту отодвинули кафедру от стены, — так что чужестранец, усевшись, по обычаю, на трон, полетел на землю и стукнулся головой.

«Казённую» географию он тоже любил и чертил карты тщательно. Учитель задавал копировать их из атласа. Пете этого было мало. Вдвоём со Смирновым они построили настоящую градусную сетку и по ней нарисовали Англию, со всеми графствами, раскрашенными в разные цвета. Петя поднёс карту учителю, как подарок. Учитель рассердился и поставил двойку — за излишнее усердие.

Научился он в гимназии очень немногому. Но эта единственная зима среди чужих, старших мальчиков что-то в нём сдвинула. С весны 1854 года, с одиннадцати с половиной лет, он начал помнить всё подряд, год за годом, лица, голоса, манеры. До этого были отдельные картинки с большими провалами между ними — желе у постели, крендельки в шапке, Макар в коридоре. Теперь жизнь потекла сплошной лентой.

Главным человеком в эти годы был Николай Павлович Смирнов.

Он кончил университет — вторым кандидатом, сразу после Чичерина, — и поступил писцом в Гражданскую палату на семь рублей в месяц. Утро он проводил в палате, а после обеда приходил к Пете. В нём было всё, чего не было ни у Пулэна, ни у отца: развитой литературный вкус, благоговение перед книгами и тихая, упрямая нелюбовь к николаевским порядкам, которую он не высказывал вслух, но которую Петя чувствовал в каждом его слове.

В те годы многое из лучшего, что было написано по-русски, нельзя было напечатать. Вторую часть «Мёртвых душ» не пропустили вовсе, первую запретили издавать вторично. В «Горе от ума» полковника Скалозуба цензура переделала в «господина Скалозуба», потому что выставить полковника в смешном виде значило оскорбить армию. Стихи Пушкина, Лермонтова, Рылеева ходили в списках. Смирнов переписывал их для себя и для приятелей, а Петя помогал.

Однажды вечером Смирнов дал ему переписать набело тетрадку, на которой не было ни заглавия, ни имени автора.

— Это Рылеев, — сказал он, понизив голос, хотя в комнате никого не было. — Тот, которого повесили. Двадцать пятого года. Только смотри, никому.

Петя знал, что был какой-то двадцать пятый год, о котором дома не говорили. Знал, что были люди, которых повесили. Больше не знал ничего.

Тетрадка оказалась поэмой о казаке. Казака звали Наливайко. Он поднял Украину против польских панов, и поляки его казнили. Петя переписывал медленно, строку за строкой, и на одном месте остановился и перечитал несколько раз:

*Известно мне: погибель ждёт Того, кто первый восстаёт На утеснителей народа, — Судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была Без жертв искуплена свобода?*

— Николай Павлович, — спросил он, — а Наливайко — он был запорожец?

— Казак. Украинский. А что?

— Мой прадед... То есть не прадед, а давно, предок. Иван Сулима. Его тоже поляки замучили в Варшаве. Он был гетманом.

Смирнов посмотрел на него с интересом.

— Вот как? Я не знал. — Он помолчал. — Тогда тебе это читать вдвойне. Только помни, что Рылеев писал не про поляков. Он про Россию писал. Про то, что здесь.

Петя не сразу понял. Потом понял и долго сидел над тетрадкой, не переписывая.

Он не знал тогда, что эта самая поэма лежит, переписанная твёрдым красивым почерком, в тетради его матери, в углу кладовой в Никольском. Он найдёт её только через много лет.

Смирнов был настоящий москвич и почитал писателей, живших в Москве, — особенно тех, что жили в самой Старой Конюшенной. С уважением показывал он Пете дом графини Салиас, писавшей под именем Евгении Тур, их ближайшей соседки. С благоговением — дом Герцена. И с обожанием — дом на Никитском бульваре, где в феврале 1852 года умер Гоголь.

Петя тогда ещё не прочёл ни одной строчки Гоголя. Но он помнил, как Москва горевала об этой смерти, помнил, что Тургенев напечатал о ней заметку и за неё был посажен под арест, а потом сослан в деревню.

Гоголя он прочёл в одиннадцать, в двенадцать лет, и Гоголь его огушил. «Онегин» прошёл мимо, оставив только восхищение простотой и красотой стиха. «Капитанская дочка», «Юрий Милославский», «Королева Марго» надолго заняли его историей. А Гоголь вошёл в него, как входит запах сена в одежду.

Это был не только смешной Гоголь — хотя смешной больше всего. Петины первые литературные опыты были все в юмористическом роде, в подражание Гоголю. Но был и другой Гоголь. Однажды в Никольском, в дождливую неделю, Петя нашёл в отцовском шкафу «Миргород», раскрыл наугад и прочёл «Тараса Бульбу» за один вечер, не отрываясь, при свече, пока свеча не догорела.

Он читал про Сечь и узнавал её. Это была бабушкина Сечь — та, куда приходил кто хотел, где спрашивали только, верует ли в Бога, где кошевого выбирали на раде и скидывали, если не понравится, где жили бедно и вольно. Только у Гоголя всё было громче, кровавее, страшнее. Там рубили головы и жгли города. Там отец убивал сына.

Он лежал потом в темноте, слушая дождь по железной крыше флигеля, и думал о двух Сечах — бабушкиной и гоголевской. Бабушкина была тихая, и в ней делили луга по жребию. Гоголевская была в огне. Которая из них настоящая, он не знал. Может быть, обе.

Утром он спросил отца за завтраком, был ли кто-нибудь из Сулим в Сечи. Отец поднял брови.

— Твоя мать была из хорошей малороссийской фамилии. При чём тут Сечь? Сечь — это сброд. Беглые. Их Екатерина правильно разогнала. — И, обращаясь к мачехе, добавил по-французски: — Il lit trop. Он слишком много читает.

Мачеха согласилась, что слишком.

У Пети была собственная газета.

Ещё на двенадцатом году он начал издавать ежедневные «Дневные ведомости». Бумаги было в обрез, и газета выходила в тридцать вторую долю листа. Отец получал только «Московские полицейские ведомости», так что подражать было особенно нечему. «Дневные ведомости» сообщали все новости дня: «Утром готовил уроки, ходил гулять с Н. П. Смирновым, вечером приезжали такие-то». Или: «Гулять не ходил, страдал животной болью». Летом, в Никольском, новостей прибавлялось: «Ходили в Костино, убито два дрозда и одна иволга!» Под каждым номером стояло: «Редактор П. Кропоткин».

В 1854 году новости стали другими.

Шла война. Англичане и французы высадились в Крыму. Смирнов покупал Пете брошюры о войне, и тот прочитывал их от корки до корки. Летом к Кропоткиным переселились две сестры мачехи, бежавшие из Севастополя. У них там был дом и виноградник, а теперь не осталось ничего. Младшая, тридцатилетняя, курила папиросы, что для дамы было неслыханно, и рассказывала о кораблях, которые затопили у входа в бухту, чтобы не пустить неприятеля. Она не понимала, как будут защищать Севастополь с суши, когда город с суши почти не укреплён, и повторяла это за каждым обедом, пока отец не начинал сердиться.

В том же году уехал на Кавказ старший брат, Николай.

Николай так и не кончил кадетского корпуса. Он был почти чужой: старше Пети на восемь лет, он всё детство держался с Леной, а потом жил в корпусе и бывал дома только на долгих праздниках. Петя помнил его смутно — высокий, молчаливый, с отцовскими глазами. Что с ним случилось в корпусе, почему он ушёл, не доучившись, при младших не говорили. Говорили, что Кавказ — это хорошо, что там можно отличиться, что там война с горцами.

Перед отъездом Николай зашёл в комнату к Пете. Постоял у окна, посмотрел на газету в тридцать вторую долю листа, разложенную на столе.

— Редактор, — сказал он. Не насмешливо, а как-то устало. — Ну, редактируй.

И ушёл.

Больше Петя его никогда не видел.

В «Дневных ведомостях» за воскресенье, 14 ноября 1854 года, было записано, что шёл дождь.

Было записано, что Николай Павлович Смирнов, уходя накануне, купил ему деревянную пушку на красном лафете, что у пушки отклеилась одна часть и он её подклеил, что потом клеил коробочки для гороха — стрелять из пушки. Что после обеда приехал из корпуса Саша.

Больше ничего записано не было, и больше ничего не случилось. Но если бы Петю спросили потом, через много лет, каким был самый счастливый день его детства, он, пожалуй, назвал бы этот.

Внизу, в зале, кто-то играл на рояле — Смирнов это был или кто-то из гостей, он не помнил. За окном шёл дождь, ровный, ноябрьский, по железным крышам Старой Конюшенной. В комнате пахло клеем. Пушка стояла на столе, красная, с маленьким деревянным стволом. Саша сидел на подоконнике, поджав ноги, и рассказывал о корпусе: о двух учителях словесности, которые читают им Веневитинова и Лермонтова, о товарище, который пишет роман, о том, что у кадет можно говорить почти обо всём, если не при офицерах. Петя слушал, клеил коробочки и время от времени заряжал пушку горошиной и стрелял в дверь.

— А у тебя что нового? — спросил Саша.

— Ничего, — сказал Петя. — Газету выпускаю. Хочешь, покажу?

Саша прочёл все номера за месяц, один за другим, серьёзно, как читают настоящую газету, и ни разу не засмеялся. Потом сказал:

— Тебе нужен журнал. Газета — это мелко. Тебе нужен журнал, с повестями. А я тебе дам стихи.

Вечером Саша уехал после чая. Сани опять долго не могли найти. Петя стоял в передней, пока за братом не закрылась дверь, потом поднялся наверх, сел за стол и долго смотрел на пушку.

Журнал. Настоящий журнал.

Журнал начал выходить в 1855 году и назывался «Временник».

Это был ежемесячный журнал со стихами Александра, повестями редактора и «разными разностями». Материально издание было обеспечено полностью: подписчиков было двое — сам редактор-издатель и Николай Павлович Смирнов. Смирнов, даже когда оставил дом Кропоткиных, аккуратно вносил подписную плату определённым числом листов бумаги, и редактор чистенько переписывал для единственного подписчика второй экземпляр.

Саша писал стихи легко, звучно, романтически. Любимым поэтом у него был Веников. Он искал вдохновения на слегка покато́й крыше под их окном — вылезал туда через окно и сидел, обхватив колени, глядя на трубы Старой Конюшенной. Петя, конечно, не мог удержаться:

— Вот у трубы поэт сидит и стихи строчит!

Это кончалось потасовкой. Они катались по полу, и Лена прибегала снизу в отчаянии разнимать их. Но Саша был незлопамятен. Мир восстанавливался быстро, и через полчаса они уже сидели голова к голове над следующим номером. У мальчиков любовь и драка часто ходят рука об руку.

Когда Смирнов ушёл из дома, его сменил медицинский студент Николай Михайлович Павлов — добрейшая душа, высокий, рыжий, весь в веснушках. От его старого сюртука, когда он возвращался из анатомического театра, сильно разило трупным запахом и табаком. Павлов тоже принял журнал близко к сердцу. Он добыл для него поэму одного приятеля, а главное — вступительную лекцию московского профессора физической географии, ещё нигде не напечатанную.

— Перепечатки мы не допускаем, — строго сказал редактор. — Только оригинальные материалы.

— Так она и оригинальная, — обиделся Павлов. — Я её сам записал.

Лекцию о физической географии Петя переписал в журнал от первого до последнего слова. Он не знал, что переписывает о собственной будущей жизни: о горах, о реках, о том, как устроена поверхность земли.

Слава «Временника» скоро распространилась в стенах Лефортовского корпуса: Саша, разумеется, не мог не похвастаться. Несколько многообещающих молодых кадет задумали издавать соперничающий журнал.

Дело принимало серьёзный оборот. Стихами и повестями соперники уступали «Временнику», зато у них был критик. А критик, как известно, — душа русского журнала: он по поводу новых повестей рассуждает обо всех вопросах, которые иначе обсуждать невозможно. У соперников критик был, а у «Временника» нет. Критик соперников даже написал статью для первого номера и показал её Саше.

Статья оказалась претенциозной и слабой. Саша в тот же вечер написал антикритику, в которой сокрушил и осмеял автора. Лагерь соперников, узнав, что антикритика появится в ближайшем номере «Временника», пал духом. От своего журнала они отказались, а лучшие их писатели перешли к братьям. «Временник» с торжеством объявил, что заручился исключительным сотрудничеством стольких знаменитых авторов.

Петя за два года напечатал во «Временнике» десятки вещей. Сам он потом помнил только одну — «Пребывание в Унцовске». Это была повесть в гоголевском духе о ярмарке в уездном Мещовске. Под Унцовском он описал Мещовск, куда их возили из Никольского: пыль, балаганы, цыгане с медведем, бабы с горшками, телеги, лошадиные барышники, а вечером, в Благородном собрании, — уездные помещики, один нелепее другого, «антики», которых он узнавал на каждом шагу. Был там предводитель, который засыпал на собственной речи. Была помещица, которая сватала дочь за каждого проезжего. Был отставной майор, который рассказывал о Бородине, хотя под Бородином не был.

Повесть была смешная, и Смирнов, прочтя её, смеялся до слёз. Но, отсмеявшись, он сказал вещь, которую Петя запомнил:

— Ты их всех описал, а мужиков на ярмарке — ни одного. Только бабы с горшками да цыгане. Мужики-то там зачем? Ты подумай.

Петя подумал. В следующий раз, на настоящей Никольской ярмарке, он ходил между возами не смеясь, а приглядываясь: кто что продаёт, почём, откуда приехал.

В марте 1856 года новый государь, Александр Николаевич, приехал в Москву и принял депутацию московского дворянства. Война была проиграна, мир подписан, страна, вчера ещё молчавшая, вдруг заговорила. Говорили обо всём сразу — о суде, о цензуре, о крестьянах. Особенно о крестьянах.

Государь сказал дворянам, что слухи о том, будто он хочет дать свободу крепостным, неверны. Но что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным, и что лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, когда оно начнёт само собою отменяться снизу.

Отец вернулся из Благородного собрания мрачный. За обедом молчал. Потом, отодвинув тарелку, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Снизу. Это он про пугачёвщину.

Мачеха бросила быстрый взгляд на лакеев за стульями.

— Alexis, pas devant les gens...

Петя посмотрел на «скрипку», стоявшую за его стулом с чистой тарелкой. Лицо у того было каменное. Совершенно каменное. Только тарелка в левой руке, кажется, чуть-чуть дрогнула.

Летом 1857 года пришло письмо из Петербурга: в Пажеском корпусе открылась вакансия. Петя мог занять её, пока не вышел из возраста, после которого уже не принимали. Заветная мечта отца сбывалась.

Последний номер «Временника» вышел в августе 1857 года. Журнал прожил два года. Петя переписал его, как всегда, в двух экземплярах и один отнёс Смирнову.

— Закрываете? — спросил Смирнов.

— Редактор уезжает, — сказал Петя.

Он уезжал с тяжёлым сердцем. В Москве оставался Саша — единственный человек, с которым можно было говорить обо всём. В Москве оставались «Временник», Никольское, Ульяна, дом в Старой Конюшенной, Смирнов. А впереди было военное училище при дворе, и Петя уже считал это несчастьем.

Накануне отъезда Саша приехал из корпуса — на этот раз лошадей нашли. Они сидели вдвоём на покато́й крыше под окном, на Сашином поэтическом месте, свесив ноги, и смотрели на крыши Старой Конюшенной, на зелёные, жёлтые, розовые церкви.

— Будем писать, — сказал Саша. — Каждую неделю. Обо всём. Только не домой: отец вскрывает письма.

— Каждую неделю, — повторил Петя.

— И не становись там пажом, — сказал Саша. — То есть стань, раз надо. Но не становись.

Петя понял. Он вспомнил бал, крендельки в шапке, «я не паж, я домой хочу». Потом вспомнил Макара в коридоре и старика-чумака на калужской дороге.

— Не стану, — сказал он.

Наутро мачеха повезла его в Петербург.



## Глава 4. Крепкий, как Новый мост

*Петербург, Москва, Никольское, 1857–1859*

Пажеский корпус занимал бывший Воронцовский дворец на Садовой — огромное здание с колоннадой, с бывшей мальтийской капеллой, с прекрасным старым садом. Здесь воспитывалось всего сто пятьдесят мальчиков, большею частью дети придворной знати. Окончивший мог выйти в любой гвардейский полк, а лучшие из старшего класса, камер-пажи, служили при особах императорской фамилии и становились известны при дворе. Папеньки и маменьки, имевшие связи, из всех сил добивались для сыновей места в корпусе. Князь Алексей Петрович, получив наконец вакансию для младшего сына, мог дать простор самым честолюбивым мечтам.

Сын этих мечтаний не разделял.

В августе 1857 года мачеха привезла Петю в Петербург и сдала на экзамен. Держал он в четвёртый класс, но на поверочном испытании обнаружилось нетвёрдое знакомство с десятичными дробями, а в четвёртом классе к тому же было уже за сорок воспитанников, тогда как в младший, пятый, едва набрали двадцать. Его записали в пятый.

Это значило пять лет вместо четырёх. Со слезами на глазах Петя сказал инспектору, что ему нечего делать в пятом классе, он знает всё, чему там учат.

— А знаете слова Цезаря? — шутливо ответил инспектор. — Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме.

— Я предпочёл бы быть последним, — с жаром возразил Петя, — лишь бы поскорее окончить военное училище!

— Быть может, со временем вы полюбите корпус, — заметил инспектор.

Это был полковник Павел Петрович Винклер, человек для того времени замечательный. С этого дня он стал очень хорошо относиться к упрямому новичку.

Учителю арифметики, артиллерийскому офицеру Чигареву, который тоже пытался его утешить, Петя поклялся, что не раскроет учебника его предмета.

— И, несмотря на это, вы мне будете ставить двенадцать.

Слово он сдержал. Учебника не раскрыл, двенадцать баллов получал.

Директором корпуса числился добрый старый генерал Желтухин, но настоящим начальником был «полковник» — француз на русской службе Жирардот.

Говорили, что он иезуит. Пётр потом думал, что так и было. Маленький, очень худой, со впалой грудью, с коротко подстриженными усами, делавшими его похожим на кота, Жирардот не ходил, а скользил по залам, и чёрные пронизывающие глаза его бегали по сторонам, не поворачивая головы. Он мог улыбнуться одному мальчику, остро посмотреть другому в глаза, скользнуть безразличным взглядом по третьему и чуть искривить губы, проходя мимо четвёртого, — и весь корпус знал, что первого он любит, ко второму равнодушен, третьего не замечает, а четвёртого ненавидит. Причины не знал никто. По ночам полковник отмечал в целой библиотечке книжечек разноцветными чернилами, особыми значками, в разных графах проступки и отличия каждого из ста пятидесяти воспитанников. Днём он отпирал своими ключами ящики их столов, пока они сидели в классах.

Слово «полковник» было у всех на устах. Остальные офицеры имели клички. Дать кличку Жирардоту не смел никто.

Система его была проста. Он давал полную волю камер-пажам, старшему классу, и делал вид, что не знает, что они творят. А через камер-пажей держал в железной дисциплине весь корпус. При Николае ответить на удар камер-пажа значило угодить в кантонисты. Ослушника,

не исполнившего каприза старшего, избивали вечером двадцать камер-пажей тяжёлыми дубовыми линейками — с молчаливого согласия полковника. Ещё за год до поступления Пети любимой забавой старшего класса был «цирк»: ночью собирали новичков в одну комнату и гоняли по кругу в ночных рубашках, как лошадей на манеже, а камер-пажи стояли внутри и снаружи круга и хлестали их гуттаперчевыми хлыстами. Чем кончался «цирк», в корпусе предпочитали не говорить.

Но в корпус уже проникло новое время. Всего за несколько месяцев до поступления Пети там произошла своя революция. Третий класс в тот год подобрался особенный: многие всерьёз учились и читали. Петя познакомился с одним из них, когда тот сидел над «Критикой чистого разума» Канта. В третьем же классе были и самые сильные мальчики корпуса, вроде силача Коштова. Третий класс не захотел подчиняться камер-пажам, и после одного случая между первым и третьим классами вышла большая драка. Камер-пажей жестоко побили. Жирандот замял дело, но авторитет старшего класса был подорван. Хлысты остались, однако в ход их больше не пускали, и «цирк» перешёл в область преданий.

Младшему классу, однако, ещё приходилось терпеть.

Дня через два после поступления Петя заметил, что пятиклассники почти не пользуются садом. Стоило им спуститься туда, как камер-пажи заставляли их вертеть карусель, в которой катались сами, или подавать шары при игре в кегли.

Он не пошёл в сад. Остался наверху и читал.

Вошёл рыжий, веснушчатый камер-паж Васильчиков.

— Ступай в сад, вертеть карусель. Живо.

— Я не пойду, — ответил Петя. — Не видите разве: я читаю.

Гнев перекошил и без того некрасивое лицо камер-пажа. Петя отложил книгу и встал в оборонительную позицию. Васильчиков стал бить его по лицу фуражкой. Петя отбивался, как умел. Тогда камер-паж швырнул фуражку на пол.

— Поднимите!

— Сами поднимите!

В корпусе такого не слыхивали. Почему Васильчиков не избил его тут же, Петя так и не понял: камер-паж был старше и много сильнее. Может быть, просто растерялся. На другой день и на следующий приказ повторялся, и Петя не исполнял его. Тогда начались мелкие систематические преследования, которые могут довести мальчика до отчаяния. Петя отвечал шутками или вовсе не обращал внимания. Потом полили осенние дожди, все сидели в четырёх стенах, и карусель кончилась сама собой.

Но тут случилась новая история.

В саду камер-пажи курили свободно, а внутри здания курительной комнатой им служила «башня» — чистая комната с камином, который топили весь день. Младших, пойманных с папиросой, наказывали жестоко, а сами камер-пажи сидели в башне у огня, курили и болтали, особенно после десяти вечера, когда все ложились спать. Заседание продолжалось до половины двенадцатого. Чтобы полковник не застал их врасплох, они заставляли младших дежурить. Пятиклассников по очереди, парами, поднимали с постелей и гоняли бродить по лестнице до половины двенадцатого, чтобы поднять тревогу, если появится Жирандот.

Пятый класс решил с этим покончить.

Совещались долго. Обратились за советом к старшим классам, и оттуда, после должного обсуждения, пришёл ответ: «Откажитесь стоять на часах. Если камер-пажи станут вас бить, — а они, наверно, станут, — соберитесь толпой побольше и зовите Жирандота. Он, конечно, всё знает, но тогда вынужден будет прекратить». Вопрос, не будет ли это фискальством, знатоки дел чести решили отрицательно: камер-пажи держались с младшими не как с товарищами.

Петя лежал в ту ночь без сна и думал не о том, будут ли бить, а о другом. О том, как это вышло. Никто не приказывал им отказаться. Никто ими не командовал. Двадцать мальчиков собрались, поговорили, спросили совета у старших — и решили. И каждый теперь знал, что если поднимут его, он откажется, потому что откажутся все. Это было похоже на что-то, но на что — он не мог вспомнить. Потом вспомнил: на старика-чумака на калужской дороге. «Зібралась валка, порадились, обрали».

Очередь в ту ночь выпала на Шаховского, бывалого, и на Севастьянова, новичка, робкого мальчика с тоненьким, как у девочки, голосом. Сначала подняли Шаховского. Тот отказался, и его, к общему удивлению, оставили в покое. Тогда двое камер-пажей подошли к Севастьянову. Он тоже отказался, лёжа в постели, и его принялись жестоко хлестать ременными подтяжками. Шаховской тем временем растолкал соседей, и они кучкой побежали к полковнику.

Двое камер-пажей подошли к Петиной кровати.

— Вставай. На часы.

— Не пойду.

Они схватили его подтяжки — платье у всех было сложено на табуретах у кроватей в строгом порядке: подтяжки сверху, галстук крест-накрест — и стали хлестать. Петя сидел в постели и отмахивался руками. Он успел получить несколько горячих ударов по спине и рукам, когда по спальне прокатился окрик:

— Первый класс — к полковнику!

Свирепые бойцы разом присмирели и стали торопливо складывать его вещи в порядок.

— Смотрите, ничего не говорите полковнику! — шептали они.

— Галстук положите как следует, крест-накрест, — сказал Петя.

Спина и руки у него горели.

О чём Жирардот говорил ночью с первым классом, младшие так и не узнали. Но на другой день, когда корпус выстроился, чтобы идти в столовую, полковник обратился ко всем с речью в минорном тоне. Как прискорбно, говорил он, что камер-пажи напали на мальчика, который был прав, отказываясь идти. И на кого напали! На новичка, на такого робкого мальчика, как Севастьянов!

Всему корпусу стало противно от этой иезуитской речи. Но ночным дежурствам пришёл конец, а с ними и всей системе приставания к новичкам.

Жирардот принял всё это близко к сердцу. К пятому классу, а к Кропоткину особенно, — история с каруселью была ему, конечно, известна, — он стал с тех пор относиться откровенно неприязненно.

Как все дети, родившиеся не в Петербурге, Петя заплатил дань столице «хладных финских берегов». Первую зиму он провёл больше в госпитале, чем в классах. Сначала несколько приступов местной холерыны, в декабре тиф, потом один за другим острые, мучительные гастрические воспаления. Директор и доктор относились к нему с истинно отеческой заботой. Жирардот во время ежедневных обходов, заставая его на госпитальной койке, стал повторять полушутливо по-французски:

— Вот валяется в госпитале молодой человек, крепкий, как Новый мост.

Раз и два Петя отшутился. На третий, на пятый раз его взорвало.

— Как вы смеете так говорить! — закричал он, приподнявшись на подушке. — Я попрошу доктора, чтобы он запретил вам ходить в эту палату!

Жирардот отступил на два шага. Чёрные глаза его сверкнули, тонкие губы поджались ещё больше.

— Я оскорбил вас? Не так ли? — произнёс он наконец. — Хорошо. В рекреационной зале у нас стоят две пушки. Хотите драться на дуэли?

— Я не шучу, — ответил Петя, глядя ему в глаза. — И говорю вам, что не хочу больше терпеть ваших намёков.

Полковник больше не повторял своей шутки. Только смотрел ещё неприязненнее. Целых полтора года он не давал Кропоткину погон, которые новичкам обыкновенно давали через месяц или два. Наконец лучший фронтовик в корпусе, офицер, вызвался обучить мальчика сам и, убедившись, что тот выделяет все артикулы как следует, представил его полковнику. Жирардот отказал раз и другой. Тогда офицер, сочтя это личным оскорблением, на вопрос директора, почему у Кропоткина нет погон, ответил напрямик: «Мальчик всё знает, только полковник не хочет». В тот же день Жирардот проэкзаменовал Петю ещё раз, и погоны были выданы.

Петя прекрасно обходился и без них.

Каждую неделю — а иногда и чаще — в Москву, в Лефортовский корпус, уходило письмо. Писать домой было бесполезно: отец вскрывал письма. Писали друг другу, минуя дом, и переписка эта стала для обоих единственным местом, где можно было говорить обо всём.

Обо всём — это прежде всего о Боге.

Ещё в отцовском доме, в людской и девичьей, Петя освободился от страха геенны огненной. Церковная служба в Пажеском корпусе, где священники наперебой, гнусавым и старческим голосом бормотали бесконечные ектеньи о здравии благочестивейших и великих князей таких-то, вызвала в нём одно отвращение. В католической церкви его поразила театральность. Из протестантской он вышел, шепча стихи Гёте о речи, которая не идёт от сердца и потому не доходит до сердца.

24 октября 1857 года он писал брату, что Бог есть, но что представление это для него неясно, что он путается. Что догматы и предания нелепы. Что, может быть, самая истинная вера была та, что образовалась сразу после Христа. 7 ноября он написал, что глупо кланяться иконам, что всё наше богослужение глупо, что в Священном Писании много вздора.

Саша в это время с обычным своим пылом увлёкся лютеранством. Он прочёл книгу Мишле о Сервете, составил себе собственную веру по образцу знаменитого антитринитария, с энтузиазмом изучил Аугсбургское исповедание, перевёл его и прислал брату. Письма их наполнились рассуждениями о благодати и цитатами из посланий апостолов Павла и Иакова.

31 января 1858 года Петя написал, что чувствует потребность молиться, но не может, не знает даже, о чём молиться. «Безверием палим и иссушим, действительно так».

Сестра Лена была уже замужем и жила в Петербурге. По субботам, получив отпуск, Петя шёл к ней. У её мужа была порядочная библиотека — энциклопедисты, лучшие современные французские философы. Книги были запрещённые, в корпус их брать было нельзя, но по субботам, до глубокой ночи, Петя сидел в чужом кабинете над «Философским словарём» Вольтера, над стоиками, над Марком Аврелием. Бесконечность вселенной, величие природы, её поэзия и вечно бьющаяся жизнь производили на него всё большее впечатление. Лена приносила ему чай и, не говоря ни слова, уходила.

Саша тем временем перешёл от лютеранства к Канту. Письма его наполнились «относительностью представлений» и «представлениями во времени и в пространстве, и во времени только». Почерк становился всё мельче по мере того, как возрастала важность предмета, и под конец делался совершенно микроскопическим.

Петя взялся за «Критику чистого разума» сам. Читал медленно: на две-три страницы уходило полчаса, он ломал голову над каждым абзацем. И 26 марта 1858 года написал брату: «Что за чудесная книга! Я до сих пор не читал ничего подобного. Я читал и приходил в восторг...»

Но кантианцем он не стал ни тогда, ни потом, когда они с Сашей проводили над Кантом целые часы. Ему нужна была не система, а мир — реальный, огромный, существующий без всякой зависимости от того, как он нам представляется.

27 апреля 1858 года он написал: «Я немного переменил свои убеждения и начинаю ни во что не верить». Для чего предполагать что-то сверхъестественное во всём, что мы видим? Планеты образовались из туманных пятен и обращаются по законам физики. Всё совершается вследствие физических и химических свойств тел. Если уж обоготворять творящую силу, то обоготворяй тогда и силу пара, и силу пороха.

Ему было пятнадцать лет.

Любимыми его предметами стали точные науки: математика, физика, астрономия.

В ноябре 1857 года был опубликован высочайший рескрипт на имя виленского генерал-губернатора. Государь выражал намерение освободить крестьян.

Генерал-губернатором в Вильне был Назимов — муж той самой Назимовой, в костюме персидской царицы, с чьим сыном Петю перепутали на балу семь лет назад. Литовские губернии первыми подали государю адрес, к которому ни одна русская губерния не решалась. Почин сделан был там, где Наполеон в двенадцатом году, хотя бы на бумаге, уже отменял крепостное право.

Саша прислал из Москвы переписанную от руки статью Герцена из «Колокола»: «Ты победил, галилеянин». Лондонские изгнанники объявляли, что отныне не считают Александра II врагом и будут поддерживать его в великом деле освобождения. Петя прочёл статью в рекреационной зале, отвернувшись к окну, и по щекам у него текли слёзы. Он не стыдился. Он знал, что в Лефортове над теми же строчками плачет Саша.

Летом два младших класса освобождались от лагеря в Петергофе, и Петя уезжал домой. Он считал дни: Москва, а главное — Саша.

Летом 1858 года в Москве его ждало разочарование. Саша не выдержал экзаменов и остался в том же классе на второй год. В сущности, он был ещё слишком молод для специальных классов. Но отец рассердился страшно и запретил братьям видаться.

Петя был в отчаянии. Им было уже не по десять лет, у них накопилось столько, что сказать друг другу, — на годы разговоров. Он придумал хитрость: попросил отпустить его к тётке Сулиме, маминой сестре. У неё он надеялся встретить Сашу, который мог бы туда прийти.

— Нет, — коротко сказал отец.

Мачеха, сидевшая рядом с рукоделием, не подняла головы.

— Ты знаешь, что к ним ходить запрещено, — добавил отец. — Это раз навсегда решено.

Решено было десять лет назад, когда в дом вошла Елизавета Марковна со словами «никого из дома Сулимы». Петя за десять лет видел мамину родню, может быть, раза два, случайно, издали. Тётка Сулима жила в Москве, в нескольких верстах, и была ему дальше, чем Петербург. Он стоял перед отцом и думал, что его мать умерла дважды: один раз в угловой комнате в Штатном переулке, а второй раз — когда её вынесли из дома вместе с акварелями и вышивками.

В ту весну дом в Левшинском переулке, близ Смоленского бульвара, был полон гостей. Каждый вечер ярко освещали приёмные комнаты, играл крепостной оркестр, кондитер готовил мороженое и печенье, в большой зале до глубокой ночи шла карточная игра. Петя бесцельно бродил по освещённым комнатам и чувствовал себя несчастным.

Однажды ночью, уже после десяти, кто-то из слуг поманил его знаком в переднюю. Там стоял старый дворецкий Фрол.

— Идите в людскую, — шепнул он. — Александр Алексеевич там.

Петя помчался через двор, взлетел на крыльцо людской. В полутёмной большой комнате, за громадным дощатым столом, при одной сальной свече, сидел Саша.

— Саша, милый, откуда ты?

Они кинулись друг другу в объятия и некоторое время не могли ничего сказать.

— Тише! Ещё услышат! — зашептала кухарка Прасковья, утирая глаза углом передника.

— Бедные сиротки! Если бы ваша мамаша жива была!..

Старый Фрол стоял, понутив голову, и глаза у него мигали.

— Смотри же, Петя, никому ни слова. Слышишь? Никому.

Прасковья поставила перед Сашей горшок горячей каши. Саша, сияющий здоровьем, принялся уплетать кашу и одновременно говорить обо всём на свете. Петя едва добился от него, как он сюда попал. Оказалось, Саша уложил под одеяло чучело из своего платья, спустился незаметно через окно «башни» — в Лефортовском корпусе тоже была своя башня — и все семь вёрст через всю Москву, через пустыри, прошёл пешком.

— А ты не боялся? Там же собаки.

— Кого мне бояться? Разве что собак, да я их сам раздражил. Завтра возьму тесак.

Понемногу в людскую сходились кучера, лакеи, горничные. Вздыхали, глядя на братьев, садились вдоль стен на лавки и тихо перешёпывались, чтобы не мешать. А братья, обнявшись, просидели до полуночи и говорили о туманных пятнах и гипотезе Лапласа, о строении вещества, о борьбе папской и императорской власти при Бонифации VIII. Время от времени кто-нибудь из слуг вбегал со двора:

— Петенька, поди покажись в зале, а то они от карт поднялись, могут хватиться.

Петя бежал в залу, показывался среди игроков, улыбался, отвечал на вопросы и бежал обратно.

Он умолял Сашу не приходить на следующую ночь. Саша пришёл — с тесаком, выдержав стычку с собаками. На третью ночь он приехал раньше обычного, часть дороги на извозчике: прошлой ночью один из слуг принёс ему денег — тех, что гости, по обычаю, оставили лакеям за картами, — и упросил взять. Саша взял немного мелочи на извозчика.

Больше рисковать они не решились. Узнай об этом в корпусе — Сашу ждала бы порка перед строем всего корпуса до потери сознания, а потом, может быть, и разжалование в кантониисты. Узнай отец — пострадали бы слуги. Они решили расстаться до осени. Из коротенького официального письма, пришедшего через день, Петя узнал, что ночные похождения брата остались нераскрытыми.

Знали о них все в людской. Кучера, повара, горничные, конюхи — человек тридцать. Никто не проговорился ни словом. Ни один.

Петя думал об этом потом много раз. Эти люди, которых можно было продать, высесть, отдать в солдаты за разбитую тарелку, рисковали ради двух барчуков, детей своей покойной барыни, и молчали, как один человек. Никто их об этом не просил и никто им ничего не обещал.

В июле, в день Казанской Божьей Матери, в храмовой праздник никольской церкви, в Никольском бывала большая ярмарка. Съезжались купцы из соседних городов, собиралось несколько тысяч крестьян из деревень вёрст за сорок, и село два дня кипело народом.

В тот год Иван Аксаков напечатал своё замечательное исследование о торговле на украинских ярмарках. Саша, увлечённый тогда политической экономией, прочёл его и написал брату: сделай статистическое описание нашей ярмарки, определи её оборот.

Петя достал книгу Аксакова и читал её в Никольском, лёжа на траве за флигелем. Полтава, Харьков, Ромны, Кролевец. Волковы обозы, чумаки с солью и рыбой, суконщики, кожев-

ники, ярмарочные ряды, растянувшиеся на версты. Он читал и видел старика с седыми усами на калужской дороге, слышал скрип немазанных колёс. Это была та самая страна, откуда пришла его мать, страна вольных людей, у которых не было пана. Только теперь она была описана цифрами — пудами, рублями, возами. И цифры оказались не скучнее песен.

Он взялся за дело.

Накануне праздника ярмарочная площадь вскипела жизнью. Наскоро ставили длинный ряд навесов для ситцев, ниток, лент и всяких деревенских обнов. Большой каменный сарай превращали в трактир, посыпали пол ярким жёлтым песком. Ставили три новых кабака, издали заметных по венику на длинном шесте. С изумительной быстротой вырастали лавчонки с посудой, сапогами, пряниками. В одном конце площади рыли в земле походные кухни, и в громадных котлах варились целые бараны и четверики пшена и гречи — щи и каша на всю ярмарку. К полудню на всех дорогах к селу уже не было проезда от скота, от телег с глиняной посудой, с бочками дёгтя, с хлебом.

После всенощной началось подторжье. Петя ходил между возами с записной книжкой и опрашивал сотни людей о стоимости привезённого товара. Ему, конечно, тоже задавали вопросы:

— Зачем это вам? Уж не для старого ли князя? Не хочет ли он ярмарочный сбор прибавить?

Петя уверял, что «старый князь» ничего не знает и знать не будет, — и это была чистая правда. Отец счёл бы величайшим позором, что сын его занимается подобной переписью и, того хуже, распивает чай с лавочниками в трактире. Петя распивал. После нескольких стаканов в трактире с лавочником дело шло как по маслу.

Работой его заинтересовался никольский староста Василий Иванов, красивый молодой крестьянин с умным лицом и шелковистой русой бородой.

— Коли тебе это нужно для твоей науки, то ты и делай, — сказал он. — А потом, может, и нам пригодится.

И пошёл говорить крестьянам, что с княжичевыми расспросами всё ладно.

Привоз определился довольно точно. С продажей было труднее: торговцы красным товаром сами не знали, на сколько продали, — в день праздника молодые крестьянки, продав немного самотканого полотна, брали лавки приступом, покупая ленты, ситцы, платки себе, мужу, старикам и ребятишкам. Зато торговки посудой, пряниками, пенькой, особенно старухи, называли сумму сразу.

— Хорошо торговала, бабушка?

— Грех жаловаться. Что Бога гневить! Почти всё уж продала.

Из маленьких итогов в записной книжке складывались десятки тысяч рублей. Неясным остался только один пункт. Под палящим солнцем стояли сотни баб с кусками тонкого самотканого холста, и между ними шныряли десятки скупщиков с цыганскими лицами и ястребиными глазами. Эти сделки удалось определить только приблизительно, с помощью Василия Иванова.

Тогда Петя не философствовал над своим опытом и просто радовался, что он удался. Но за эти два дня он увидел то, что запомнил на всю жизнь. Мужик мог рабски повиноваться помещику или становому, мог снять шапку и стоять без шапки сколько велят. Но он не считал их высшими людьми. Через минуту тот же мужик разговаривал с барином как равный с равным, если речь шла о сене или об охоте. Того подобострастия, ставшего второй натурой, с которым мелкий чиновник говорит о начальнике или лакей о барине, Петя в крестьянах не видел никогда. Крестьянин слишком легко подчинялся силе, но не поклонялся ей.

В Москву в конце лета он возвращался необыкновенным путём.

Железной дороги от Калуги ещё не было, а был некто Козёл, державший почтовые дилижансы. Кропоткины, конечно, так никогда не ездили — на то были свои лошади и экипажи. Но отец, чтобы избавить мачеху от двойной дороги, полушутя предложил сыну ехать «на Козле». Петя ухватился за это с восторгом. Мачеха довезла его до Калуги, а оттуда он поехал один в козловском тарантасе с очень толстой купчихой, купцом и мещанином. Ему шёл шестнадцатый год, и он впервые в жизни путешествовал сам. Купчиха запаслась на три дня громадной корзиной и всю дорогу угощала его пирожками.

Вечером остановились на постоялом дворе в большом селе. Купчиха заказала самовар, а Петя пошёл бродить по улице. Село было не господское, а казённое, зажиточное: здесь ткали полотно. На краю площади стояла белая харчевня. Он зашёл.

За столами, покрытыми белыми скатертями, сидели крестьяне и пили чай. Петя тоже заказал пару. Кто-то спросил, откуда он, куда едет, и скоро завязался разговор с десятком мужиков — об урожае, о погоде, о сене. Потом стали спрашивать: что в Петербурге? А правда ли, что слышно про волю? Скоро ли?

Ничего особенного в этот вечер не случилось. Тёплая тёмная ночь спустилась на село, в харчевне тихо разговаривали, мужики расспрашивали о сотне вещей, лежащих вне их обычной жизни, и на Петю повеяло чем-то тёплым — простотой, сердечностью и сознанием равенства. С тех пор бедная белая харчевня стала для него привлекательнее любого богатого ресторана.

Осенью, вернувшись в корпус, он стал проводить воскресенья и праздники у тётки, княгини Друцкой.

Дядя, князь Дмитрий Сергеевич, думал только о необыкновенных завтраках и обедах. Тётка с дочерью проводили время весело. Кузине Вареньке шёл двадцатый год. Она была хороша собой, все двоюродные братья были в неё влюблены, а она полюбила одного из них, Ивана Ивановича Мусина-Пушкина, и хотела за него замуж. Но венчать двоюродных — великий грех по законам церкви, и княгиня напрасно добивалась разрешения у высших иерархов. Теперь она привезла дочь в Петербург в надежде, что среди бесчисленных поклонников из гвардии и дипломатии Варенька выберет кого-нибудь подходящее родного кузена.

Казалось бы, в такой дом революционные идеи проникнуть не могли. Но именно здесь Петя впервые увидел революционную литературу.

Герцен только что начал издавать в Лондоне «Полярную звезду». Она быстро разошлась в публике и произвела смятение даже при дворе. Варенька доставала книжки, и они читали вместе, вдвоём, в маленькой гостиной, пока тётка принимала гостей. Сердце Вареньки было возмущено тем, что мешало её счастью, и тем охотнее её ум принимал резкую герценовскую критику самодержавия и прогнившей государственной системы.

Петя открыл обложку и замер.

На обложке «Полярной звезды» был отпечатан медальон — пять профилей, пять голов повешенных декабристов: Бестужев, Каховский, Пестель, Рылеев, Муравьёв-Апостол.

Рылеев.

Он смотрел на маленький профиль и вспоминал тетрадку без заглавия, которую давал ему переписывать Смирнов в Москве. «Известно мне: погибель ждёт того, кто первый восстаёт на утеснителей народа». Казак Наливайко. Гетман Иван Сулима, замученный в Варшаве. И человек, который написал об этом и которого за это повесили. Теперь у него было лицо.

Он почти с молитвенным благоговением глядел на медальон. Красота и сила герценовских страниц, размах мысли, глубокая любовь к России охватили его. Он читал и перечитывал. Тургенев правду сказал, что Герцен писал слезами и кровью и что с тех пор у нас никто так не писал. Когда Саша прислал переписанное от руки «С того берега», Петя за несколько дней выучил наизусть целые страницы об июньских днях сорок восьмого года в Париже.

Тётка, видя, как он зачитывается «Полярной звездой» и горячо, с горящими глазами, говорит о Герцене, не раз печально качала головой:

— Смотри, Петя, тебя так же повесят когда-нибудь, как и их.

Он засмеялся. Тётка не засмеялась.



## Глава 5. Газета в партах

*Петербург, Петергоф, 1858–1860*

Учителя рисования в Пажеском корпусе звали Ганц. Рисованию пажи учились плохо, и Ганц не обращал на это никакого внимания: он исправлял рисунки только тем, кто брал у него частные уроки или заказывал ему готовые рисунки к экзамену. Против товарищей, заказывавших рисунки, класс ничего не имел. Было вполне естественно, что мальчик без способностей к математике или без памяти на географию заказывал писарю хорошую топографическую карту, чтобы получить «полные двенадцать» и поправить общий балл. Только первым двум ученикам этого делать не полагалось. Но самому учителю, рассуждали пажи, не подобает торговать рисунками. А раз торгует, пусть покорно сносит шум и проказы.

Ганц не сносил. После каждого урока он жаловался и с каждым уроком всё больше «записывал» в журнал.

— Сами виноваты, что он у вас так заважничал, — говорили старшие. — Мы его держали в ежовых рукавицах.

Когда класс перешёл в четвёртый и почувствовал себя полноправным гражданином корпуса, решено было Ганца обуздать. Последней каплей стала шутка. Двое отличных товарищей подошли к Ганцу с папиросами и попросили огонька. Никто, конечно, курить в классе не собирался. По понятиям пажей, Ганцу следовало сказать «убирайтесь!», и всё. Вместо этого он записал обоих в журнал, и их жестоко наказали.

Класс решил устроить Ганцу «бенефис». Это значило, что все, вооружившись одолженными у старших линейками, будут барабанить по столам, пока учитель не уберётся.

Затруднение было одно, но серьёзное. В классе хватало маменькиных сынков. Они пообещали бы присоединиться, а в решительный момент трусили бы, и тогда Ганц мог бы указать на остальных. А в таких делах единодушие — всё. Наказание, каким бы оно ни было, всегда легче, когда падает на целый класс, а не на немногих.

Затруднение преодолели с макиавеллиевской ловкостью. Условились, что по сигналу все сразу повернутся к Ганцу спиной и только тогда начнут барабанить линейками, заранее положенными на столы второго ряда. Маменькиных сынков не испугает вид Ганца, а со спины никто не разберёт, кто бил, а кто нет. Оставалось придумать сигнал. Разбойничий свист, крик, даже чиханье не годились: Ганц сразу донёс бы на того, кто свистнул или чихнул. Нужен был сигнал беззвучный. Решили так: один из лучших рисовальщиков, Нестеров, понесёт Ганцу показать рисунок. Сигналом будет, когда он вернётся и сядет на место.

Петя потом часто вспоминал эти несколько минут. Ганц исправлял рисунок Нестерова бесконечно долго. Класс сидел, не дыша. Наконец Нестеров вернулся, остановился на мгновение у своего стола, взглянул на всех — и сел.

Весь класс разом повернулся спиной к учителю. Линейки затрещали по столам. Кто-то, покрывая трескотню, закричал: «Ганц, пошёл вон!» Шум был такой, что его слышали все классы. Ганц поднялся, пробормотал что-то и вышел. Вбежал дежурный офицер — шум продолжался. Влетел субинспектор — шум продолжался. Вошёл инспектор — и шум стих. Началась расправа.

— Старший — под арест! — скомандовал инспектор.

Старшим, как первый ученик, был Кропоткин. Его повели в карцер, и всего дальнейшего он не видел. Директор вызвал Ганца и предложил указать зачинщиков. Ганц не мог назвать никого.

— Они все повернулись ко мне спиной и стали шуметь, — сказал он.

Телесных наказаний в корпусе уже не применяли, но на этот раз высекли тех двух пажей, что просили огонька: бенефис будто бы устроили им в отпущение. Весь класс до самого Рождества лишили отпуска по воскресеньям.

Петя узнал всё это через десять дней, когда его выпустили из карцера. Его стёрли с красной доски, и он нисколько не огорчился. Десять дней без книг, правда, показались ему длинноватыми. Чтобы скоротать время, он сочинил дубовыми стихами оду, воспевавшую славные деяния четвёртого класса.

Класс стал героем корпуса. Весь месяц другим классам рассказывали о подвиге и принимали похвалы за то, что сделали всё так дружно и никого не дали поймать отдельно. Воскресенья без отпуска провели весело, потому что сидели все вместе. Маменькиным сынкам привозили корзины лакомств, у кого были деньги, покупал горы пирожков, а по вечерам товарищи из других классов контрабандой доставляли славному четвёртому классу фрукты.

Ганц больше никого не записывал. Но с рисованием в четвёртом классе было покончено: никто не хотел учиться у продажного человека.

В третьем классе Петя занялся историей всерьёз.

По заметкам с уроков и по «Всеобщей истории» Лоренца, которую, конечно, прислал Саша, он составил для себя целый курс ранней истории Средних веков. Потом его захватила борьба между папской и светской властью при Бонифации VIII и Филиппе Красивом. Ему страстно захотелось работать в Публичной библиотеке над первоисточниками. Пажей туда не пускали. «Они не знают, кто я», — написал он брату с мальчишеским торжеством. Он задумал целую монографию о Филиппе IV.

Учитель немецкого, профессор университета Беккер, библиотекарь Императорской публичной библиотеки, тот самый, что когда-то дал ему «Фауста» в маленькой квадратной книжечке с пожелтевшими страницами, сжалился и устроил ему доступ к первоисточникам. Петя сидел над старыми фолиантами по воскресеньям, обложившись выписками, и чувствовал себя учёным.

Корпус наполнялся новыми людьми и новыми словами. Россия, проснувшаяся после николаевского сна, говорила о крестьянах, о гласности, о суде. Газеты печатали то, что пять лет назад нельзя было произнести вслух. Только в корпусе, казалось Пете, по-прежнему никто ничего не читал.

«Странно, как мало развита у нас охота к чтению, — жаловался он брату. — Никто почти ничего у нас не читает, а если и читает, то не более как французские романы».

В 1859 году или в самом начале 1860-го он решился.

Он стал издавать газету. Свою первую революционную газету — хотя в том возрасте он мог быть, конечно, только конституционалистом. Он доказывал в ней, что России нужна конституция. Писал о безумных расходах двора, о деньгах, истраченных на эскадру, без всякого дела стоявшую в Ницце, пока там лечилась вдовствующая императрица. Писал о злоупотреблениях чиновников, о которых слышал на каждом шагу. Доказывал необходимость правового порядка.

Он переписал газету от руки в трёх экземплярах и подсунул в столы тем товарищам из старших классов, которые, по его расчётам, должны были интересоваться общественными делами. В конце была приписка: замечания просят класть за большие часы в библиотеке.

Ночью он не спал. Если газету найдёт кто-нибудь не тот, если она попадёт к начальству — его исключат. Хуже того: найдут ли в ней что-нибудь такое, за что сажают не в карцер, а в крепость? Он перебирал в памяти каждую строчку и не мог вспомнить, что написал.

На другой день, с бьющимся сердцем, он вошёл в библиотеку. Огляделся. Никого. Подошёл к большим часам, просунул руку за корпус.

Там лежали две записки.

Два товарища писали, что вполне сочувствуют ему, и советовали только не рисковать слишком сильно.

Он выпустил второй номер, ещё резче. В нём он доказывал, что всем нужно объединиться во имя свободы. На этот раз за часами ничего не было. Зато через день к нему в рекреационной зале подошли двое.

— Мы убеждены, что газету издаёте вы, — сказал один, понизив голос. — Мы пришли поговорить о ней. Мы с вами совершенно согласны и хотим сказать: будем друзьями.

— Но газету не следует издавать, — добавил другой. — Во всём корпусе, кроме нас, может быть, ещё два человека интересуются такими вещами. Если станет известно, что существует такая газета, последствия будут ужасны для всех. Составим лучше кружок. Станем говорить обо всём. Может быть, удастся убедить и других.

Это было так разумно, что оставалось только согласиться. Они скрепили союз крепким рукопожатием и с тех пор стали большими друзьями — читали вместе, спорили, обсуждали всё, что происходило в России.

Их было трое. Позже Петя думал, что этот кружок из трёх пажей в Воронцовском дворце, под носом у начальства, и был его первой организацией. В ней не было ни устава, ни председателя, ни присяги. Было только согласие трёх человек делать вместе то, что каждый хотел и так.

Лучше всего ему было с книгами, но книги не могли заменить брата.

Письма шли в Москву и обратно каждую неделю. Это были уже не детские письма, а настоящие трактаты. Саша, узнав гипотезу Лапласа, тут же излагал её брату: наша солнечная система есть лишь одна из бесчисленных групп мировых тел и катится к одной из звёзд в созвездии Геркулеса. Он советовал прочесть лекции московского профессора Рулье о происхождении Вселенной и живых существ, герценовские «Письма об изучении природы». В 1858 году, ещё до появления книги Дарвина, Саша ухватился за идею изменчивости видов и уже не выпускал её. «Спасибо тебе, что ты мне сообщил гипотезу Лапласа, — отвечал Петя. — Твоё письмо ясно указало мне, что нужно мне заняться естественными науками. Я решительно не имел о них никакого понятия...»

Но с каждым письмом в нём росла тревога, которую он не мог назвать.

В январе 1860 года он написал брату длинное письмо, одно из самых откровенных в жизни.

«Не знаю, до чего я так дойду со временем. Меня интересует и желание получить практическое воспитание, и естественные науки, и история по временам затрагивает меня. На чём же я остановлюсь? Неужели ни на чём? Более и более убеждаюсь я в неспособности понимать философские книги, да и лень одолевает... Обломовщина? Избави Бог. Я чувствую, как вредит мне корпус, он убьёт во мне последнее, что было хорошего! Часто я задаю себе вопрос: что из меня выйдет?»

Не так давно, писал он, он мечтал сделаться историком, а теперь, благодаря Саше, убедился в своей полной к этому неспособности. С естественными науками он почти не знаком, но, кажется, мог бы ими заниматься. Математика интересует. И главное — тянет приложить знания к делу. Сельское хозяйство, промышленность — вот обширное поприще. «Всякий должен быть полезным членом общества... Мне хотелось бы быть сколько-нибудь полезным».

Ответ пришёл через неделю.

«Скажу прямо: я не верю в тебя; корпус почти погубил тебя. С горьким, горьким чувством думаю я теперь о тебе, чем ты стал, мой милый, милый Петя? Что есть в тебе, кроме

внешнего лоска? Я всегда был предубеждён против первых учеников; очень редко выходят из них порядочные люди науки... Гордая самоуверенность проглядывает у тебя... Ты человек не науки! Наука не для тебя; научное поприще так тернисто, что только страстная любовь и верность к науке может поддержать на нём человека...»

Петя прочёл письмо в спальне, у окна, при последнем зимнем свете. Перечитал. Сложил и спрятал за обшлаг. Весь вечер он отвечал невпопад, а ночью лежал, глядя в потолок.

Это было почти как приговор. И вынес его единственный человек на свете, мнением которого он дорожил.

Он не обиделся. Он никогда не обижался на брата. Через несколько дней он написал как ни в чём не бывало — о математике, которая идёт обычной чередой, о химии, о маленькой лаборатории, где он ставит опыты, когда заводятся деньги, о концерте, куда вырвался из корпуса и где слушал трио Глинки, «сколько в нём родного, близкого сердцу, выплаканного, как и во всех русских мотивах...». Но слова «я не верю в тебя» засели в нём занозой.

Весной 1860 года вышло «Накануне» Тургенева.

Экзамены кончились, и пажи жили в лазарете, отдыхая перед лагерем. Петя начал читать повесть под вечер, сидя у раскрытого окна, выходявшего на плац. Напротив, через плац, стоял маленький домик, где жил один из дежурных офицеров с двумя молоденькими племянницами, и в окнах домика зажгли свет.

Он читал всю ночь, не отрываясь. Свет в домике напротив давно погас, плац посинел, потом посерел, потом порозовел. Инсаров, болгарин, поглощённый одной мыслью — освобождением родины, — входил в него, как входит в человека судьба. И Елена, русская девушка, которая всё бросила и пошла за ним, — не за мужем, не за женихом, а за делом. Эта повесть, понял он потом, на всю жизнь определила его отношение к женщине. Он не хотел жены, которая будет стоять за его стулом. Он хотел товарища.

Вместе с тургеневскими повестями он читал поэтов, которые не печатались. Огарёвское «Свобода!» он знал наизусть и как-то вечером прочёл его товарищам в рекреационной зале:

*Мне слышится с родины юное слово: Свобода! Свобода!..*

Товарищи слушали, и только. Двое из кружка кивали. Остальные вежливо дождались конца и заговорили о лагере, о том, кого произведут в камер-пажи.

Он рос и развивался один. Это он тоже понимал.

В Гостином дворе на Невском в ту зиму продавалась книжка, о которой говорили в гостиной у Друцких и в субботней библиотеке у Лены. Называлась она «Кобзарь». На первой странице был портрет автора: лысоватый человек с тяжёлыми усами, в тёплом полушубке, с усталыми глазами.

— Шевченко, — сказала Лена, когда Петя спросил её. — Малороссийский поэт. Он был крепостной. Его выкупили, когда ему было лет двадцать пять — Брюллов написал портрет Жуковского, портрет разыграли в лотерею, а на деньги выкупили. Потом его сослали в солдаты, на десять лет, за стихи. Запретили писать и рисовать. Теперь вернулся, живёт здесь, при Академии художеств. Говорят, очень болен.

Петя купил «Кобзаря» на последние деньги.

Читать было трудно. Язык был похож на русский и не похож. Он угадывал слова, путался, перечитывал. Но в какой-то момент, где-то в середине книги, слова вдруг перестали быть чужими. Он услышал их — не прочёл, а услышал, — голосом Ульяны, напевающей над его кроваткой нездешнюю песню, которую та переняла от барыни. Тот же мягкий выдох вместо «г». Те же протяжные гласные. Это был язык его матери.

И это был язык крепостного. Человека, которого продавали и покупали, как Макара, как Полю, как Круглова. Шевченко писал о казаках, о Сечи, о гайдамаках, о покрытке Катерине с ребёнком на дороге, о солдатчине, о панах. Иногда так, что Пете становилось страшно. А у Вареньки Друцкой нашлось в рукописном списке стихотворение, которого в «Кобзаре» не было и не могло быть, — его не пропустила бы никакая цензура. Петя переписал его на отдельный листок:

*Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте...*

«Похороните меня — и вставайте, рвите цепи».

Он долго сидел над листком. Сечь, бабушка, старик-чумак, Рылеев, Наливайко — всё это вдруг сложилось в одно. Это было не прошлое. Это было сейчас. Человек, написавший эти строчки, жил в нескольких верстах, на Васильевском острове, больной, бывший крепостной, бывший солдат.

Петя так и не решился пойти к Академии художеств. Он не знал, что сказать человеку, которого продавали, — ему, князю, в мундире пажа.

Лето пажи проводили в лагере в Петергофе вместе с другими военными училищами Петербургского округа. Жилось там хорошо. Глазомерные съёмки, полевые занятия, длинные дни на воздухе — после корпусных зал это было как отпуск. Петя полюбил съёмки: ходить по полю с планшетом, мерить на глаз расстояния, наносить на бумагу ручьи, овраги, рощи. Это было похоже на «Географию нашей гимназии», только всерьёз.

Осенью 1860 года он вернулся в корпус и сразу попал в историю.

Жирандот к тому времени вышел в отставку. Место его занял один из корпусных офицеров, капитан фон Бреверн. Человек он был, в сущности, добрый, но вбил себе в голову, что пажи почитают его не так, как подобает при его новом высоком посту. И начал он с того, что стал притеснять старший класс из-за каждой мелочи и посягнул на пажеские «вольности», происхождение которых терялось во мраке времён. Вольности были крошечные, но ими дорожили. Корпус несколько дней «бунтовал». Последовало поголовное наказание, двух любимых камер-пажей исключили.

Потом капитан стал заходить в классы в тот час перед занятиями, когда пажи готовили уроки. Классы считались вне надзора фронтового начальства: там распоряжался инспектор. Вторжение капитана задело всех. И однажды Кропоткин громко, при всём классе, заявил ему: — Тут место инспектора классов, а не ротного командира.

За эту дерзость его посадили в карцер на несколько недель.

Карцером в корпусе служили две совершенно тёмные комнаты. Заключённый получал кусок чёрного хлеба и кружку воды. Больше ничего — ни книг, ни бумаги, ни свечи.

В первые дни Петя почувствовал сильную скуку, почти физическую. Бездеятельность тяготила его хуже голода. Он делал гимнастику, ходил по камере — четыре шага вперёд, четыре назад. Пел вполголоса отрывки из опер, всё, что помнил, «Вильгельма Телля», «Пуритан», Бозию в «Травиате». Но время тянулось невыносимо медленно. Темнота не менялась. Нельзя было понять, день сейчас или ночь, утро или вечер. Только хлеб и вода, которые приносили, отмечали время.

На третью или четвёртую ночь — или день, он уже не знал — пришли слова брата. Он сидел на полу, прислонившись спиной к холодной стене, и вдруг услышал их так ясно, будто кто-то произнёс их вслух в темноте.

«Я не верю в тебя. Корпус почти погубил тебя. Что есть в тебе, кроме внешнего лоска?»

Внешний лоск. Он вспомнил, как камер-пажи завивали волосы перед выходом во дворец и бежали потом под кран распрямлять завитки. Как Жирардот разыгрывал репетиции придворных церемоний: одного пажа закутывали в красный бумажный чехол от кровати, и он изображал императрицу, а остальные прикладывались к его руке и удалялись с изящным поклоном вполоборота. Как в корпусе первым учеником считался тот, кто лучше отвечал вызубренное. Он был первым учеником.

Может быть, Саша прав.

Он сидел в темноте и думал: а что, если я действительно ничто? Если вся эта история, газета, кружок, оды, Публичная библиотека, — только мальчишество первого ученика, который хочет, чтобы его заметили? Что, если я выйду отсюда и стану таким, как все, — камер-пажом, гвардейским офицером, адъютантом, генералом, и буду стоять за креслом у царя, и все мои газеты и Герцены останутся в шкапулке, как Сашины детские стихи?

Он встал и снова начал ходить — четыре шага вперёд, четыре назад.

Нет. Не так. Он не знал ещё, кем он станет. Но он знал, кем не станет. Он вспомнил Макара в тёмном коридоре в Старой Конюшенной: «Небось, когда вырастешь, и ты такой же будешь?» — и свой крик: «Нет! Никогда!»

Саша мог не верить в него. Это было больно. Но он поверит сам. Этого достаточно.

Прошла неделя. Он всё сидел.

Тогда он придумал новое занятие. Совершенно бесполезное и потому прекрасное: он стал учиться лаять и выть по-собачьи.

Через несколько дней он довёл этот талант до совершенства. Он умел передать вой собаки на луну. Умел изобразить встречу двух собак: огромная и сильная лает басом на маленькую собачонку, а та, поджав хвост, тявкает со страхом из-за угла. Умел передать лай цепного пса, когда во двор входит чужой, и скулёж щенка, которого заперли в сарае. Он лаял, выл и смеялся сам над собой в темноте, и темнота отступала.

Он не знал, что через три года, на Амуре, это бесполезное искусство спасёт ему ночь. Плывая в почтовой лодке в безлунной тьме по огромной реке, где не видно ни берегов, ни селений, начальник лодки будет серьёзно говорить ему: «Пётр Алексеевич, будь так добр, полай немножко». И он будет лаять над чёрной водой, и через несколько минут с невидимого берега отзовутся деревенские собаки, и лодка повернёт на звук.

В карцере он просидел больше двух недель. Однажды в соседнюю тёмную комнату посадили другого пажа, и тот стал сообщать ему через стенку корпусные новости. Петя, выслушав, захотел показать своё искусство — и завыл, и залаял на все лады. Сосед перепугался насмерть и, едва его выпустили, рассказал товарищам:

— Кропоткин, должно быть, с ума сошёл в карцере. Я ему рассказываю новости, а он лает и воет, как собака, мне в ответ!

Сенсационная новость тут же дошла до начальства. На следующий день Кропоткина стали выпускать на занятия, а в карцер отводили только ночевать. Наконец его позвали к директору, генералу Желтухину.

Директор был добрый человек, но, увидев воспитанника, принял грозный и суровый вид.

— Что это ты выдумал оскорблять капитана? Как ты осмелился так отвечать начальству? Знаешь ли ты, что тебя следует одеть в бараний тулуп и отправить к отцу?

Петя стоял навтыжку и молчал, как требовала дисциплина. Скоро гневный тон директора сменился обыкновенным, и, заметив это сам, генерал вдруг спохватился и сердито приказал:

— Ступай к себе. В карцер.

Петя ушёл. На следующий день его освободили совсем. Класс встретил его с восторгом.

Во втором, предпоследнем классе пришлось всерьёз браться за науки. Пахам предстояло за два года пройти то, на что в других военных училищах отводилось три. Историю пришлось оставить. На первый план вышли математика, физика, химия.

Физику преподавал Чарухин — умный, саркастический, ненавидевший зубрёжку. Он хотел, чтобы пажи учились думать, а не заучивать. Он умел показать основную мысль каждого закона и каждого прибора, не теряясь в мелочах. Учебник Ленца, по которому учились, был неплох, но устарел: физика в эти самые годы перестраивалась на глазах. Грове, Клаузиус, Джоуль доказывали, что теплота и электричество — лишь разные формы движения. Гельмгольц начинал свои исследования о звуке. Чарухин стал составлять краткий конспект по-своему, и конспект этот отдавали литографировать.

Через две-три недели составлять конспект пришлось Кропоткину. Чарухин, как хороший педагог, отдал это дело ему целиком и сам читал только корректуры. Отделы о теплоте, электричестве и магнетизме пришлось писать заново, вводя новейшие теории. Так паж второго класса составил почти полный учебник физики, отлитографированный для всего корпуса.

Когда первый литографированный экземпляр, ещё пахнущий краской, лёг перед ним на стол, Петя долго смотрел на него. Потом взял лист бумаги и сел писать брату. Писал о теплоте как форме движения, о новом взгляде на электричество, о том, что сделал. Не хвастался — просто рассказывал.

Про «я не верю в тебя» он не написал ни слова. Учебник физики был ответом.

Химию вёл артиллерийский офицер Петрушевский, страстный любитель своего предмета, сам сделавший несколько важных исследований. Он водил пажей по заводам, и Петя впервые увидел машины в работе. Гигантская паровая лапа выступала из лесопильного завода, вылавливала бревно из Невы и плавно подкладывала его под пилы. Раскалённая докрасна железная полоса проходила между двумя валами и превращалась в рельс. Он понял поэзию машин, их мощь и точность. И тогда же понял другое: на этих заводах человек был рабом машины, всю жизнь подкладывал под неё одно и то же. Виновата в этом была не машина, а то, как устроена работа.

По субботам, когда удавалось вырваться, он бежал в итальянскую оперу. Ложи разбирались по подписке за месяцы вперёд и в некоторых домах передавались по наследству. В кресла и на галерею пажей не пускали. Оставалась верхняя галерея шестого яруса, где они набивались «в проходе» и парились как в бане, стоя, в застёгнутых чёрных ватных шинелях с меховыми воротниками, чтобы не было видно мундиров. Внизу пели Бозио и Тамберлик. А когда со сцены звучали революционные речитативы «Вильгельма Телля» или «Пуритан», галерея взрывалась такими овациями, что государь в ложе морщился.

В шестом ярусе, в курительной, на подъезде собиралась лучшая часть петербургской молодёжи. Студенты, офицеры, курсистки. Говорили о Герцене, о Чернышевском, о крестьянской реформе, о том, когда же наконец объявят волю.

Петя стоял среди них в своей ватной шинели и слушал. Ему было семнадцать лет.



## Глава 6. Князь, воля!

*Петербург, Никольское, Москва, 1860 — январь 1862*

Осенью 1860 года умерла вдовствующая императрица Александра Фёдоровна, вдова Николая.

Гроб стоял в Петропавловском соборе, и у гроба день и ночь дежурили пажи. Чуть не половину корпуса ежедневно отвозили в крепость. Сменялись каждые два часа. Днём это было нетрудно. Но жутко было вставать ночью, одеваться в придворное платье и идти в собор тёмными мрачными дворами крепости под печальный перезвон курантов. Петя шёл через эти дворы, и холод пробегал у него по спине. Где-то здесь, за этими стенами, в казематах, были замурованы заключённые. Русская Бастилия.

«Кто знает, — думал он, — быть может, и мне когда-нибудь предстоит попасть в число их».

Над гробом, под куполом собора, был устроен громадный балдахин, увенчанный большой позолоченной короной. От неё к четырём пилонам ниспадала огромная пурпурная мантия, подбитая горностаем. Впечатление было сильное. Но пажи скоро открыли, что корона сделана из картона и дерева, что бархатная только нижняя часть мантии, а верхняя — из красного кумача, что вместо горностаея пошла белая бумазая с нашитыми беличьими хвостиками и что щиты с гербами под крепом тоже картонные. Народу, которого вечерами пропускали мимо катафалка приложиться к золотой парче, было некогда разглядывать бумазейный горностае. Театральный эффект получался, и обходился недорого.

Во время одной панихиды члены императорской фамилии, как водится, стояли с зажжёнными свечами и гасили их, переворачивая, после определённых молитв. Один из маленьких великих князей, увидев, что «большие» тушат свечи, сделал то же самое — и нечаянно поджёг чёрный креп, ниспадавший со щита позади него. Через мгновение щит и креп пылали. Огненный язык побежал вверх по тяжёлым складкам так называемой горностаевой мантии.

Панихида прервалась. Все с ужасом смотрели, как огонь взбегает всё выше, к картонной короне и деревянной раме, державшей всё сооружение. Стали падать куски горящей ткани, грозя поджечь траурные вуали дам.

Государь растерялся лишь на мгновение.

— Нужно гроб нести! — приказал он.

Камер-пажи тотчас накрыли гроб золотой парчой, и все бросились поднимать его. Но в эту минуту огненный язык распался на мелкие голубые огоньки, которые побежали по ворсу ткани и мало-помалу погасли в пыли и копоти, скопившейся под куполом.

Петя потом не мог сказать, на что смотрел тогда больше — на ползущий огонь или на трёх фрейлин, стоявших у гроба. Чёрные кружевные вуали висели у них вдоль плеч, длинные шлейфы траурных платьев покрывали ступени катафалка. Ни одна не шелохнулась. Они стояли, как прекрасные изваяния, и только у одной из них, Гамалеи, на глазах блеснули слёзы, как жемчужины.

Она была украинка родом и единственная красавица среди фрейлин. Пете вдруг показалось, что так могла бы стоять его мать — прямо, не шелохнувшись, под огнём, — и что так же, должно быть, блеснули бы у неё глаза. Он тут же устыдился этой мысли и отвёл взгляд.

Осенью 1860 года вести о реформе становились всё хуже.

По воскресеньям, когда товарищи возвращались из отпуска, Петя расспрашивал их, что говорят дома родители. «Партия Валуева одержала верх». «Они хотят пересмотреть всё дело заново». «Родственники княжны Долгорукой сильно влияют на государя». «Освобождение

отложено: бояться революции». Николая Милютина, душу всего дела, государь отстранил, сказав ему, что дворянство называет его «красным». Комитеты, выработавшие проект освобождения, распустили, новые пересматривали всё в пользу крепостников. Печати снова зажали рот. Теперь уже спрашивали: состоится ли освобождение вообще?

В январе 1861 года слухи стали утешительнее. Все надеялись, что 19 февраля, в день вступления Александра на престол, объявят какой-нибудь манифест.

Этот день наступил и не принёс ничего.

19 февраля Петя был во дворце. Вместо большого выхода был малый, а на такие выходы посылали пажей второго класса, чтобы приучать к придворным порядкам. В этот день очередь выпала Кропоткину. Он сопровождал одну из великих княгинь из церкви. Её муж не показывался, и она попросила пажа найти его. Великого князя вызвали из кабинета императора, и Петя полушутливо передал ему, как беспокоится жена. Великий князь рассеянно кивнул и пошёл к ней.

Петя ничего не подозревал. Он не знал, что в ту минуту в кабинете обсуждали манифест, уже подписанный в этот день. Кроме нескольких посвящённых, во дворце не знал никто. Манифест держали в секрете две недели только потому, что через неделю начиналась масленица, и боялись, что в деревнях пьянство вызовет бунты. Даже масленичные балаганы в этом году перенесли с Дворцовой площади на Марсово поле, подальше от дворца, а войскам дали строжайшие инструкции, как усмирять беспорядки.

Через несколько дней, у Лены за чаем, он узнал другую новость.

— Шевченко умер, — сказала Лена. — В воскресенье, на рассвете. Здесь, при Академии, в своей мастерской. Говорят, встал, спустился вниз по лестнице — и упал.

Петя поставил чашку.

— Похороны были во вторник, на Смоленском, — продолжала Лена. — Говорят, народу было много. Студенты несли гроб на руках через весь Васильевский. Говорили речи по-малороссийски и по-польски. Кто-то читал его стихи над могилой.

— Я не знал, — сказал Петя.

— Откуда тебе было знать, ты в корпусе.

Он вспомнил листок со стихами, переписанный у Вареньки. «Поховайте та вставайте, кайдани порвіть». Похоронили. Человек, которого выкупили из крепостных на деньги от лотереи, умер крепостным в стране крепостных.

Через неделю Петя поймёт, что Шевченко не дожил до воли семь дней.

Через две недели после 19 февраля, утром 5 марта, в последний день масленицы, Петя был в корпусе: в полдень предстоял развод в Михайловском манеже. Он ещё лежал в постели, когда денщик Иванов вбежал к нему с чайным подносом и закричал с порога:

— Князь, воля! Манифест вывешен в Гостином дворе!

Гостиный двор был прямо напротив корпуса.

— Ты сам видел манифест?

— Да! Народ стоит кругом. Один читает, а все слушают. Воля!

Через две минуты Петя был одет и на улице.

— Кропоткин, воля! — крикнул ему товарищ, входивший в корпус. — Вот манифест! Мой дядя узнал вчера, что его будут читать за ранней обедней в Исаакиевском соборе. Я пошёл. Народу было немного, одни мужики. После обедни прочли и раздали манифест. Когда я выходил из собора, на паперти стояли мужики. Двое в дверях так смешно мне сказали: «Что, барин? Теперь — фюить!»

И товарищ показал, как они махнули рукой, указывая барину дорогу прочь. Годы томительного ожидания были в этом жесте выпроваживания.

Петя читал манифест и перечитывал. Составлял его престарелый московский митрополит Филарет, напыщенным языком, и церковнославянские обороты только затемняли смысл. Но это была воля, без всякого сомнения. Не немедленная: крестьяне оставались обязанными ещё два года, до 19 февраля 1863-го, и землю им придётся выкупать. Но ясно было одно: крепостное право уничтожено, крестьяне получают надел. Пятно рабства смыто. Рабов больше нет.

Он стоял посреди Невского с листком в руках, и мимо шли люди, и ему хотелось обнять каждого.

Он подумал о Макаре. О Поле у крошечного оконца скотной избы. О Круглове в кандалах. О портном Андрее, которого сдали в солдаты. Об Ульяне, о Фроле, о Прасковье, о кормилице Василисе. О старике-чумаке. Обо всех.

И о Шевченко, который не дожил семи дней.

На разводе, когда церемония кончилась, государь, ещё не сходя с коня, громко крикнул: — Господа офицеры, ко мне!

Офицеры окружили его, и он заговорил о великом событии дня. До пажей долетали обрывки.

— Господа офицеры... представители дворянства в армии... положен конец вековой несправедливости... жду жертв от дворянства... благородное дворянство сомкнётся вокруг престола...

Ему ответили восторженными криками «ура!».

Обратно пажи не шли, а бежали: спешили в итальянскую оперу на последний в сезоне сборный дневной спектакль. Никто не сомневался, что будут манифестации. Наскоро сбросив амуницию, Петя с несколькими товарищами помчался в театр, на галерею шестого яруса. Театр был переполнен.

В первом же антракте курительная наполнилась возбуждённой молодёжью. Знакомые и незнакомые обнимались, говорили все сразу. Тут же решили: вернуться в зал и запеть всем вместе «Боже, царя храни». Но когда донеслась музыка и все бросились обратно, оркестр уже играл гимн — и его тут же затопили крики «ура!» всего зала.

Петя видел сверху, как дирижёр Бавери машет палочкой, но не мог разобрать ни одного звука огромного оркестра. Бавери кончил — крики не прекращались. Он замахал снова. Видно было, как ходят смычки, как надуваются щёки трубачей, но восторженный рёв заглушал всё. Бавери начал гимн в третий раз. И только к самому концу отдельные звуки медных инструментов стали прорезывать гул человеческих голосов.

На улицах было то же самое. Толпы крестьян и образованных людей стояли перед Зимним дворцом и кричали «ура!». Когда царь показался в коляске, за ней побежал ликующий народ.

Через два года, когда Александр II топил в крови польское восстание, Герцен напишет: «Александр Николаевич, зачем вы не умерли в этот день? Вы остались бы героем в истории!»

Петя прочтёт эти слова и согласится с каждым.

Где же были восстания, которые предсказывали крепостники? Если что-нибудь и могло вызвать бунты, так это сама запутанная неопределённость условий, введенных «Положением». Но, кроме двух-трёх мест и мелких беспорядков от непонимания, вся Россия оставалась спо-

койной — спокойнее, чем когда-либо. Со своим обычным здравым смыслом крестьяне поняли главное: крепостному праву конец.

В июне 1861 года Кропоткина произвели в фельдфебели Пажеского корпуса.

Кое-кому из офицеров это не понравилось: с таким фельдфебелем, говорили они, не будет никакой дисциплины. Но поделать они ничего не могли. Фельдфебелем назначался первый ученик старшего класса, а Кропоткин был первым уже несколько лет. Назначение считалось очень завидным: фельдфебель пользовался преимуществами офицера и одновременно был камер-пажом самого императора, то есть становился лично известен государю. Это был важный шаг в карьере.

Для Пети важнее было другое. Производство избавляло от изнурительных дежурств в корпусе и давало отдельную комнату для занятий, где можно было уйти от школьного гама. Была, правда, и обратная сторона. Он терпеть не мог ходить по залам мерным шагом и всегда мчался бегом, что строго запрещалось. Теперь придётся чинно шагать с дежурной книгой под мышкой. По этому важному поводу состоялось даже совещание друзей. Друзья решили, что время от времени он всё-таки сможет пробежаться, а что касается отношений с товарищами, то от него самого зависит поставить их на товарищескую ногу.

Он поставил.

Камер-пажи бывали во дворце постоянно: на выходах, балах, приёмах, обедах. На Рождество, Новый год и Пасху — почти каждый день, а иногда и по два раза. Каждое воскресенье на разводе фельдфебель докладывал царю, что «по роте Пажеского корпуса всё обстоит благополучно», даже если треть корпуса лежала в лазарете.

— Докладывать ли сегодня, что не всё обстоит благополучно? — спросил он однажды полковника, когда чуть не полкорпуса переболело какой-то заразой.

— Боже сохрани! — ужаснулся тот. — Так докладывать можно, только если в корпусе случится бунт.

Придворная жизнь была живописна: строгий этикет, блестящая обстановка, утончённость манер. Большой выход был красивым зрелищем. Тысячи офицеров выстраивались в громадных залах, чтобы поклониться, когда император с семьёй проследуют в церковь. Пока процессия строилась, члены императорской фамилии весело болтали в гостиной, а потом разом надевали маску торжественности. Император подавал руку императрице, за ним шёл его камер-паж, за императрицей — два камер-пажа, поднимавшие на поворотах бесконечный шлейф её платья и потом расправлявшие его во всей красе. Каждый генерал, каждый сановник, прежде чем поклониться, старался украдкой поймать взгляд царя, и если тот отвечал улыбкой, словом или хотя бы чуть заметным кивком, счастливцев оглядывал соседей в ожидании поздравлений.

Сначала Петя смотрел на Александра как на героя. Царь начинал работать в шесть утра, не придавал значения церемониям, упорно боролся с реакционной партией. Освобождение крестьян казалось только первым шагом. Если бы в его присутствии кто-нибудь покусился на царя, Петя, не задумываясь, закрыл бы его грудью.

Но он присматривался к парадной стороне придворной жизни и видел мельком, что делается за кулисами. Видел, как мелочи этикета до такой степени поглощают внимание двора, что заслоняют вещи первой важности. Видел, как придворные лакеи за обедом пересказывают пажам скандальную хронику, зная решительно всё. Видел, как однажды утром во дворце объявили, что «княжна Долгорукая сегодня получила отставку, на этот раз полную», и через полчаса она пришла в церковь с распухшими от слёз глазами, а остальные дамы держались от неё поодаль, будто для того, чтобы её лучше было видно. И те же лакеи, что вчера пресмыкались перед ней, сегодня обсуждали её на свой лад.

Ореол, которым он окружал Александра, понемногу тускнел.

Из всей императорской фамилии симпатичнее всех была императрица Мария Александровна — та самая, на чьих коленях он когда-то уснул на балу в Москве. Она, конечно, не помнила этого. Однажды после приёма американского посланника Петя оказал ей какую-то маленькую услугу, и она поблагодарила его так, как не благодарит женщина, привыкшая к придворной лести, — просто и искренне. Он покраснел и поклонился. Ему хотелось сказать: «Ваше величество, однажды вы не вставали с места весь бал, чтобы не разбудить маленького пажа», — но придворный камер-паж таких вещей не говорит.

Она, без сомнения, не была счастлива. Придворные дамы находили её слишком строгой и не понимали, отчего она так близко принимает к сердцу «шалости» мужа.

В августе 1861 года он приехал в Никольское.

Крестьяне, как и везде, приняли новые условия разумно и спокойно. Они прекрасно знали, как тяжело будет выплачивать выкуп, который, в сущности, был вознаграждением помещику за даровой труд отобранных душ. Но личное освобождение от рабства они ценили так высоко, что приняли и разорительные условия. В первые месяцы праздновали по два дня в неделю, уверяя, что грех работать по пятницам, но когда наступило лето, принялись за работу с ещё большим усердием, чем прежде.

«Положение» было большой и тяжело написанной книгой. Петя потратил немало времени, пока разобрался в ней. Однажды к нему пришёл никольский староста Василий Иванов, тот самый, что помогал ему когда-то считать ярмарочный оборот, и попросил объяснить одно тёмное место. Петя стал объяснять и скоро понял, что Василий Иванов, читая далеко не бойко, отлично разобрался в запутанных главах и параграфах сам и спрашивает только о последней тонкости.

Хуже всех пришлось дворовым. Им не дали надела — им дали свободу и ничего больше. Почти все в округе ушли от прежних господ. От отца не остался никто. Кто знал ремесло, нашёл работу в городе. Купцы охотно брали бывших господских людей и гордились, что у них служит кучер князя такого-то или повар генерала такого-то. Отцовский оркестр так и остался оркестром, хорошо зарабатывал в Калуге и поддерживал с домом дружеские отношения. Тем, кто не знал никакого ремесла, пришлось плохо. Но и они предпочитали перебиваться как-нибудь, лишь бы не оставаться у прежних господ.

Отец ходил по пустующему дому мрачный и ругался, что все неблагодарные. Мачеха плакала по вечерам, что некому подать чай.

Ульяна уходила последней.

Она пришла к нему во флигель в сумерках, в тёмном платке, с узелком. Постарела, ссутулилась, лицо в морщинах, но глаза были те же, что над его детской кроваткой.

— Прощаться пришла, Петенька. Ухожу. Мы с Фролом Фадеичем к его племяннику в Калугу, а там как Бог даст.

Петя встал. Он не знал, что сказать. Он хотел сказать «оставайся», но это было бы подло, и он это понимал.

— Ульяна...

— Погоди. — Она развязала узелок. — Я ведь тебе давно хотела отдать, да боялась. Когда та, новая, велела всё барынино из дома вынести, — она не называла мачеху иначе как «та» и «новая», — я кое-что прибрала. Не украла, нет. Спрятала. В кладовой, в углу, под старыми коврами, за сундуками. Думала, вырастете — отдам. Вот ты и вырос. Пойдём, покажу.

Они пошли в большой дом, в кладовую, при свече. В углу, за сундуками, под пыльными свёрнутыми коврами лежала связка бумаг в выцветшей синей ленте.

Тетради. Много тетрадей. Твёрдый красивый почерк. Дневники, которые мать вела на немецких водах, — о красоте природы, о своих печалях, о жажде счастья. Ноты. Французские драмы. Стихи Ламартина, поэмы Байрона. Акварели — пейзажи, цветы, детская головка, которую он не сразу узнал как свою. И тетрадь, на первой странице которой стояло: «Думы. К. Рылеев».

Он перелистал её дрожащими руками. «Исповедь Наливайки». Те же строчки, что он переписывал у Смирнова в Москве. «Известно мне: погибель ждёт...» Она переписала их сама. Пятнадцать, двадцать лет назад, когда за это можно было угодить туда же, куда угодил автор.

Между страницами лежал сложенный листок нотной бумаги. На нём тем же почерком, без нот, только слова:

*Ой ходить сон коло вікон, А дрімота — коло плота...*

— Это она тебе пела, — сказала Ульяна. — А я за ней переняла. Ты, поди, и не помнишь.

— Помню, — сказал Петя.

Он сел прямо на пол кладовой, со свечой, с тетрадями на коленях. Ульяна постояла над ним, потом тихонько перекрестила, как крестила в детстве на ночь, и пошла к двери.

— Ульяна, — окликнул он. — Спасибо.

Она обернулась на пороге.

— Ты помнишь, Петенька, как бабы-то в поле спрашивали: «Будете ли вы такими добрыми, как ваша мать? Она нас жалела, а вы будете жалеть?» Помнишь?

— Помню.

— Ну вот. Не забывай.

Она ушла. Он больше никогда её не видел.

Осенью университеты взорвались.

В октябре 1861 года в Петербурге, Москве и Казани начались студенческие волнения. Их подавляли с возрастающей строгостью. Петербургский университет закрыли. Закрыли и вольные курсы, которые многие профессора начали читать в городской думе. Лучшие профессора, Стасюлевич и Костомаров, должны были выйти в отставку. Пажи передавали друг другу, что студентов били на улицах прикладами, что десятки отправлены в крепость, что войска стояли у университета.

4 октября Петя написал брату длинное письмо о студенческих делах. Оно кончалось тремя словами: «Подлость — мерзость — гадость!»

Ответа он ждал долго. Потом пришло письмо из Москвы, не от Саши, а от Лены: Сашу арестовали. Он был замешан в студенческих беспорядках. Петя выпросил отпуск и примчался в Москву. Сашу выпустили, но из университета пришлось уйти.

— Вот тебе и «сверху», — сказал Саша, когда они остались одни. Он похудел, глаза блестели. — Вот тебе и царь-освободитель. Дал мужикам волю, а студентам — приклад.

Петя молчал. Он вспомнил развод в Михайловском манеже, «господа офицеры, ко мне», крики «ура». Это было семь месяцев назад.

Ещё весной, сразу после манифеста, по всей России стали открываться воскресные школы. Открывали их частные лица и общества, учителя работали даром — студенты, офицеры, курсистки и даже несколько пажей. Крестьяне и рабочие, старые и молодые, валом валили в эти школы. Скоро выработался такой способ, что за девять-десять уроков взрослого человека выучивали читать. Ещё несколько лет — и без всяких расходов казны большинство народа знало бы грамоту.

Петя преподавал в воскресной школе на Выборгской стороне. Его учениками были фабричные, бородатые, с чёрными от работы руками. Они складывали буквы в слоги, слоги в слова и радовались каждому прочитанному слову, как дети. Один из них, пожилой мастеровой, про-

читав по складам первую фразу в своей жизни, засмеялся и сказал: «Ну, барин, теперь меня не обманешь».

Внезапно все воскресные школы закрыли. Говорили, что в них проповедуют крамолу.

В Польше начались патриотические манифестации, в костёлах арестовывали сотнями, казаки разгоняли толпы нагайками. В конце года в Варшаве на улице стреляли в народ. В деревнях, при усмирении немногих крестьянских беспорядков, снова ввели прогнание сквозь строй — любимое наказание Николая.

Петя смотрел и думал, что Александр, может быть, станет таким же, как отец.

31 декабря 1861 года в № 24 «Книжного вестника» появилась рецензия — двадцать пять строк, без подписи.

Это была рецензия на книжку Шелгунова, где излагалась работа немецкого автора, Энгельса, о положении рабочего класса в Англии: о фабриках, о детях, работающих по четырнадцать часов, о трущобах Манчестера, о том, как машина делает человека своим придатком. Петя прочёл книжку за одну ночь. Он вспомнил паровую лапу, вылавливающую бревно из Невы, раскалённую полосу, превращавшуюся в рельс, и людей у этих машин, которые всю жизнь подкладывают под них одно и то же. И мастерового из воскресной школы: «Теперь меня не обманешь».

Он написал рецензию, переписал её начисто и отнёс в редакцию, не сказав никому. Подписываться было нельзя: паж, камер-паж императора, фельдфебель корпуса не мог печатать в журналах рецензии на книжки о рабочих.

Когда номер вышел, он купил его у разносчика на Невском и долго стоял на морозе, читая свои двадцать пять строк. Без подписи. Без титула. Даже без «П. Кропоткина».

Это было его первое напечатанное слово.

В начале января 1862 года, в сильный мороз, обычный парад петербургского гарнизона перенесли с площади в залы Зимнего дворца. Император должен был не проскакать перед войсками галопом, а пройти пешком.

Петя шёл за ним как камер-паж. Он знал, что его придворные обязанности кончаются, как только император выступает командующим войсками, и что дальше идти не положено. Но, оглянувшись, он увидел, что Александр совсем один: флигель-адъютант и генерал-адъютант куда-то исчезли.

И Петя пошёл за ним.

Государь буквально промчался перед рядами. Он был очень высок и делал такие большие, быстрые шаги, что Пете приходилось идти самым скорым шагом, а порой и бежать. Царь спешил так, будто убегал от опасности. Его возбуждение передалось пажу. Петя ежеминутно готов был броситься вперёд и жалел только, что при нём не его собственная шпага с толедским клинком, пробивавшим пятаки, а обыкновенное форменное оружие.

Александр замедлил шаг лишь тогда, когда прошёл перед последним полком. Выходя в другой зал, он оглянулся и встретил взгляд пажа, блестящий от возбуждения и быстрой ходьбы. Младший флигель-адъютант мчался бегом две залы позади. Петя приготовился выслушать строгий выговор. Но государь сказал:

— Ты здесь молодец!

И медленно пошёл дальше, впери в пространство тот неподвижный, загадочный взгляд, который Петя всё чаще стал замечать у него.

Через несколько дней, 6 января, было водосвятие.

На Неве против дворца соорудили павильон, Иордань. Императорская фамилия, предшествуемая духовенством, шла из дворца через набережную к павильону, где после молебна крест погружали в воду. Тысячи народа стояли на набережной и на льду, все без шапок во время молебна, несмотря на страшный мороз.

Один старый генерал надел из предосторожности парик. Но, накидывая в передней шинель, не заметил, что сбил парик набок, и тот сел пробормом поперёк головы. Великий князь Константин Николаевич увидел это и всю службу пересмеивался с молодыми великими князьями. Все они смотрели на генерала, а тот глупо ухмылялся, не понимая, чем вызвал такое веселье. Наконец Константин шепнул брату, и государь тоже взглянул и рассмеялся.

Через несколько минут, когда процессия возвращалась по набережной, старый крестьянин протолкался сквозь двойную цепь солдат и упал на колени перед царём, держа над головой прошение.

— Батюшка-царь, заступись! — крикнул он со слезами.

В этом крике было всё вековое угнетение. Но Александр, за минуту до того смеявшийся над съехавшим париком, прошёл мимо, не обратив на мужика никакого внимания. Петя, шедший следом, заметил только, как царь слегка вздрогнул от испуга, когда тот внезапно бросился к его ногам. И всё. Ни взгляда. Константин, шедший сзади, прошёл так же. Флигель-адъютанта рядом не было. Никого, кто мог бы принять бумагу.

Мужик стоял на коленях на снегу, подняв руку с листком, и смотрел на уходящую спину.

Петя остановился. Принимать прошения было не его делом, и он знал, что ему сделают за это выговор. Но он вспомнил, сколько должен был вынести этот человек, пока добрался до Петербурга, сколько вёрст прошёл, сколько раз его гнали, как пробирался сквозь ряды полиции и солдат. Как и всякий мужик, подававший прошение царю, он рисковал попасть в острог, кто знает на сколько.

Петя наклонился и взял бумагу.

Мужик поднял глаза. Он увидел перед собой не царя, а мальчика в придворном мундире, с бумагой в руке.

— Спасибо, барин, — сказал он. — Спаси тебя Христос.

Петя кивнул и побежал догонять процессию. Бумага жгла ему руку сквозь перчатку.

В день освобождения Петербург боготворил Александра. Но, кроме этого одного дня, его в столице не любили.



## Глава 7. Серые шаровары

*Петербург, Москва, Никольское, февраль — июль 1862*

В феврале 1862 года в Москву ушло письмо, которое Саша прочёл два раза подряд, а потом долго не отвечал.

«На Амуре тепло, — писал Петя. — Там роскошная растительность, виноград, на Уссуре растут пробковое дерево и бархат. Я люблю поездки, переезды, путешествия. Я думаю о том, чтобы перебраться потом и в Америку. А если в России начнётся что-нибудь серьёзное, — по первым симптомам можно прискакать».

Он думал об Амуре уже давно, с тех пор как прочёл о нём всё, что мог найти. Это была Миссисипи Дальнего Востока, огромная река, прорезающая горы, только что присоединённая к России стараниями графа Муравьёва-Амурского. Он часами рассматривал рисунки к путешествию Маака по Уссуре — заросли, лианы, тигровые следы на песке, — и мысленно уносился ещё дальше, к тропикам, так чудно описанным Гумбольдтом, к великим обобщениям Риттера о том, как устроена поверхность Земли. А главное — Сибирь казалась ему бесконечным полем для тех реформ, которые выработаны или задуманы. Там работников, наверно, мало, там можно делать настоящее дело.

Саша ответил не сразу и не о том. Сначала пришло длинное «критическое послание» — о любви к женщинам вообще, о том, что брат, кажется, сам не знает, чего хочет. Потом, отдельным письмом, короткая мольба:

«Не ездь на Амур. Не связывай себя, не ездь даже на два года. Что ты захочешь вернуться, я в этом убеждён...»

Петя ответил 22 марта. Он не спорил. Он просто объяснил, что ему нужно: чтобы ему не мешали. Читать, писать, думать. Чтобы над ним не стоял ни Жирардот, ни фон Бреверн, ни дежурный генерал-адъютант, ни отец. В гвардии ему не дадут думать — там балы, разводы, выходы, там за ним будут следить, как за всеми. В университет нельзя: отец не даст ни копейки, а через несколько недель надо будет на что-то покупать платье, нанимать квартиру, и взять даже этих небольших денег неоткуда. В Артиллерийскую академию? Там с офицерами прошлой зимой обращались как со школьниками, а в Инженерной все офицеры, в том числе его большой приятель, вышли из академии всем составом. В Петербурге уже тянуло ветром реакции.

В апреле и мае он писал брату про Уссуре, про роскошную растительность, про то, что на Амуре будет учить английский, кристаллографию, математику. Книги возьмёт с собой, научный журнал выпишет. Будет учиться.

«Да, да, — говорил он себе, — в университет нельзя, стало быть, на Амур».

В середине мая, за несколько недель до производства, полковник сказал ему:

— Кропоткин, приготовьте список выпускных. Сегодня его нужно отослать великому князю.

Петя взял список своего класса и пошёл по товарищам. Каждый прекрасно знал, в какой полк выходит. Многие уже щеголяли в саду в офицерских фуражках своего будущего полка. Пажам давалось право выйти в любой гвардейский полк с первым офицерским чином или в армейский поручиком.

«Кирасирский его величества», «Преображенский», «в конную гвардию» — отмечал он против фамилий.

— Ну, а ты, Кропоткин, куда? В казаки? В артиллерию?

Вопросы сыпались со всех сторон. На него вдруг нашла грусть, раздумье. Он попросил товарища закончить список и ушёл к себе, в свою фельдфебельскую комнату, ещё раз подумать.

Думать, в сущности, было не о чем. Он давно решил, что в гвардию не пойдёт и не отдаст жизнь придворным балам и парадам. Оставалось выбрать полк в Амурской области. Больше всего его тянуло в Уссурийский край, но там стоял только пеший казачий батальон, а «пеший казак» казался ему, всё ещё мальчику, слишком уж жалким. Он остановился на Амурском конном казачьем войске.

Он сидел над списком с пером в руке и вдруг засмеялся вслух, один в комнате.

Казак. Князь Кропоткин, Рюрикович, камер-паж его величества, — в казаки. Он вспомнил Ульяну, поправлявшую ему смушковую шапку перед балом: «Ну чисто козачок». Вспомнил бабушку Сулиму: «Князей туда не брали». Вспомнил старика-чумака на калужской дороге: «Ну то й рости, козаче. Тільки не будь паном».

Амурские казаки, конечно, были не запорожцы. Их набирали из забайкальских казаков и приписанных к войску крестьян и переселяли на новую границу, где не было ещё ничего, кроме реки и тайги. Казаки по нужде, а не по воле. Но всё-таки казаки. Вольная граница, окраина, где, может быть, меньше начальства и больше дела.

Он обмакнул перо и вписал против своей фамилии: «В Амурское конное казачье войско».

Товарищи пришли в ужас.

— Это так далеко!

А приятель его Донауров схватил «Памятную книжку для офицеров», нашёл нужную страницу и, к ужасу всех присутствующих, стал читать вслух:

— «Мундир чёрного сукна, с простым красным воротником, без петличек. Папаха из собачьего или иного какого меха, смотря по месту расположения. Шаровары серого сукна»... Ты только подумай, что за мундир! Папаха ещё куда ни шло — можешь носить волчью или медвежью. Но шаровары! Серые, как у фураштов!

Фурашты были обозные солдаты, самые последние в армии. Огорчение товарищей удвоилось.

Петя отшучивался, как мог, и понёс список полковнику.

— Кропоткин всегда со своими шутками! — воскликнул полковник, увидев последнюю строчку. — Ведь я вам сказал, что список надо отправить сегодня же!

Но когда Петя объяснил, что вовсе не шутит, на лице доброго полковника отразились изумление и настоящее огорчение. Он помолчал.

— Я сейчас отнесу список директору. Список окончательный? Никаких изменений больше не будет?

— Нет, не будет.

На другой день он едва не переменял решения.

Классовский, старый учитель словесности, тот самый, что когда-то ввёл пятиклассников в литературу, давал ему прошлым летом в лагере уроки латыни: он хотел, чтобы Кропоткин поступил в университет. Петя пришёл к нему и сказал, что выходит в Амурское казачье войско.

Старик был страшно огорчён.

— Поступайте в университет. Поверьте мне, вы будете гордостью России.

Петя стоял молча. Сказать настоящую причину он не мог. Он знал, что если скажет — отец не даст ни копейки, — Классовский тут же предложит поделиться своими крохами или

выхлопочет ему стипендию. А стипендию от кого-нибудь из царской фамилии он не взял бы ни за что. Он стоял и молчал. Классовский, должно быть, решил про себя, что его увлекла карьера. Он как-то горько улыбнулся и не стал больше уговаривать.

Эта горькая улыбка не выходила у Пети из головы все последние дни в корпусе.

О своём решении он тут же написал отцу в Калугу.

Через два дня его вызвали к новому директору корпуса, Озерову. Директор показал ему телеграмму:

«Выходить на Амур воспрещаю. Прошу принять нужные меры. Климат вредный для здоровья».

— Видите, я должен буду доложить великому князю, а он не позволит идти против воли отца.

Петя стоял на своём. По закону он имел право выбрать любой полк в русской армии.

— Ну, делайте как знаете. Пишите отцу. Но предупреждаю: если он не согласится, вас на Амур не выпустят.

Петя ещё раз взглянул на телеграмму. Конец её — «климат вредный для здоровья» — открывал возможность для переговоров: значит, отец спорит не о карьере, а о климате. Он написал отцу второе письмо, расхваливая климат Приамурья, пользу путешествий после двух лет усиленных занятий и возможность блестящей карьеры на Амуре, хотя карьера его тогда не интересовала ни в малейшей степени.

Через несколько дней его потребовали к генералу Корсакову, помощнику начальника военно-учебных заведений.

— Его высочество очень удивился. С какой это стати вы вздумали записаться на Амур?

Петя боялся выдать свою мечту об университете: в придворных кругах тогда много говорили о его способностях, и он был уверен, что, заикнись он об университете, великий князь Михаил Николаевич предложит ему стипендию. Он стал путано говорить о желании путешествовать, о флоре Приамурья. Корсаков слушал, слушал и вдруг перебил:

— Вы, верно, влюблены.

— Нет. Если бы я был влюблён, я бы здесь остался — ближе к цели.

— Какая самонадеянность! — шутливо заметил Корсаков. — Я доложу его высочеству.

Чем бы всё это кончилось, неизвестно. Всё решил пожар.

26 мая, в Духов день, около четырёх часов пополудни, загорелся Апраксин двор.

Середину двора, почти полверсты в квадрате, занимал Толкучий рынок — сплошь деревянные лавчонки, где продавались всевозможные подержанные вещи. В лавках, в проходах между ними, даже на крышах громоздились старая мебель, перины, ношеное платье, книги, посуда, весь хлам, свезённый со всего Петербурга. Позади этого огромного склада горючего стояло Министерство внутренних дел, в архивах которого хранились все бумаги об освобождении крестьян. Впереди, через Садовую, — Государственный банк. Узкий Чернышёв переулок, частью застроенный каменными лавками, отделял Апраксин двор от крыла Пажеского корпуса. На другом берегу Фонтанки, почти напротив министерства, тянулись громадные дровяные склады.

Апраксин двор и дровяные склады занялись почти одновременно.

Петя обедал в корпусе у одного из офицеров. Увидев из окна первые чёрные клубы дыма, они бросились на улицу. Зрелище было ужасное. Огонь трещал и шипел. Как чудовищная змея, он метался из стороны в сторону, охватывал кольцами лавчонки, вдруг поднимался громадным столбом, высовывал языки и лизал всё новые балаганы. Закрутились вихри огня и дыма, а

когда вихрь подхватил тучу горящих перьев из перинного ряда, оставаться на Толкучем стало невозможно.

Власти совершенно потеряли голову. Во всём Петербурге не было ни одной паровой пожарной трубы. Какие-то рабочие вызвались привезти её с Колпинских заводов, за тридцать вёрст по железной дороге. Когда машину привезли на Николаевский вокзал, народ сам при-  
волок её на пожар. Из четырёх её кишок одна оказалась повреждённой неизвестной рукой, остальные три направили на министерство.

Великие князья приехали на пожар и скоро уехали.

Народ делал всё, что мог. Был момент, когда в страшной опасности оказался банк: вытас-  
щенные из лавок товары сваливали кучами на Садовой, у самых стен банка, и падающие голо-  
вешки то и дело поджигали их. Люди, задыхаясь от невыносимого жара, не давали огню раз-  
гореться. В толпе ругали начальство последними словами:

— Что они там, черти, делают в министерстве, когда вот-вот займётся банк и Воспита-  
тельный дом? С ума все посходили? Где обер-полицеймейстер? Почему он не пошлёт команду  
к банку?

Обер-полицеймейстера, генерала Анненкова, Петя знал лично — встречал его в доме  
помощника инспектора, куда тот приходил со своим братом, известным критиком. Он  
вызвался найти его и нашёл: генерал бесцельно бродил по Чернышёву переулку. Когда Петя  
доложил ему о положении у банка, Анненков, как ни невероятно, поручил ему, мальчику, пере-  
вести одну пожарную команду от министерства к банку.

— Пожарные меня не послушают! Дайте письменный приказ!

У Анненкова не было — или он уверял, что не было, — ни клочка бумаги. Тогда Петя  
позвал одного из корпусных офицеров, Госсее, чтобы тот пошёл с ним и передал приказ. Вдвоём  
они кое-как уговорили одного брандмейстера, ругавшего весь свет и своё начальство отбор-  
ными словами, перейти с командой на Садовую.

Горело не само министерство, а его архивы. Молодёжь, кадеты и пажи вместе с канце-  
ляристами выносили из горящего здания пачки бумаг и складывали на извозчиков. Иногда  
пачка падала, ветер подхватывал листы и гнал их по площади. Петя поймал один такой лист,  
обгоревший по краю. Это была ведомость какой-то губернии о числе крестьян, перешедших  
на обязательные отношения. Он сунул её за обшлаг и побежал дальше.

Хуже всего было в Чернышёвом переулке.

В каменных лавках напротив корпуса хранились большие запасы серы, деревянного  
масла, скипидара. Разноцветные огненные языки, выброшенные взрывами из лавок, лизали  
крышу низкого крыла корпуса через узкий переулок. Оконные рамы и стропила уже дымились.  
Пажи и кадеты, очистив здание, поливали крышу из маленькой пожарной трубы кадетского  
корпуса, а вода для неё подвозилась в бочках, которые наливали от руки, шайками, с большими  
промежутками. Пожарные на раскалённой крыше кричали надрывающими душу голосами:

— Воды! Воды!

Петя не мог выносить этих криков. Он помчался на Садовую и силой завернул во двор  
корпуса одну из полицейских пожарных бочек. Когда он попробовал сделать это во второй раз,  
пожарный наотрез отказался:

— Меня отдадут под суд, если сверну.

— Пойди найди кого-нибудь! — кричали товарищи. — Обер-полицеймейстера, великого  
князя, кого угодно! Скажи им, что без воды мы корпус больше не отстоим!

— Не доложить ли директору? — предложил кто-то.

— Чёрт побери их всех! Их теперь с фонарём не разыщешь! Иди и сделай всё сам!

Он снова пошёл искать Анненкова. Кто-то сказал, что тот, должно быть, во дворе Государственного банка. Ворота банка были заперты. Банковский чиновник у ворот наотрез отказался впустить фельдфебеля пажей. Петя настаивал, грозил, и наконец его пустили. Во дворе стояли несколько офицеров вокруг генерала, в котором он узнал петербургского генерал-губернатора князя Суворова, внука генералиссимуса. Суворов писал записку на спине одного из адъютантов.

Петя подошёл прямо к нему и доложил.

— Кто вас послал?

— Никто. Товарищи.

— Так вы говорите, что Пажеский корпус скоро загорится?

— Да. Мы больше не можем отстаивать.

— Идёмте со мной.

Суворов быстрыми шагами вышел на улицу, подобрал с мостовой картонку от шляпы, накрыл ею голову от огня и побежал что было сил в Чернышёв переулок. С одной стороны пылали лавки, с другой тлели рамы и стропила корпуса. Мостовая была завалена пустыми бочками, ящиками, соломой.

— У вас во дворе рота солдат. Возьмите отряд и немедленно очистите переулок. Сейчас сюда проведут одну из кишок паровой машины. Управляйте ею. Я вам лично её поручаю.

Солдат в корпусном саду поднять было нелегко. Они успели вычистить содержимое брошенных бочек и ящиков, набили карманы кофейными зёрнами, каждый спрятал в кепи по большому куску сахара, и теперь, в эту тёплую весеннюю ночь, прохлаждались под деревьями, пощёлкивая орехи. Никто не хотел двигаться, пока не вмешался офицер. Переулок очистили, и кишку пустили в ход. Товарищи были в восторге. Каждые двадцать минут пажи сменяли солдат на кишке, и всегда кто-нибудь из пажей стоял рядом, несмотря на адский жар.

Около трёх или четырёх часов утра стало ясно, что с огнём справились. Корпус был вне опасности.

Полумёртвые от усталости, они выпили по несколько стаканов чая в белой харчевне у Александринского театра — пажи, кадеты, пожарные, мастеровые, все вместе, за одними столами. Никто не спрашивал, кто князь, а кто мещанин. Все были одинаково чёрные от копоти. Потом пажи повалились спать на первые свободные койки в лазарете корпуса.

Наутро Петя поднялся рано и в бывшем белом, а теперь чёрном от копоти кепи пошёл на пожарище. Вернувшись, он встретил великого князя Михаила Николаевича, приехавшего осмотреть корпус. По долгу службы фельдфебель провожал его по зданию. Пажи поднимали головы с подушек. У всех лица были чёрные от дыма, глаза и веки распухли, у многих опалены волосы. Нарядных пажей с трудом можно было узнать. Но они гордились тем, что не были белоручками и работали не хуже других.

Уходя, великий князь спросил:

— Ты на Амур выходишь? Что за охота?

— Путешествовать хочется, ваше высочество.

— У тебя родные там есть?

— Нет, никого.

— А генерал Корсаков, генерал-губернатор, тебя знает?

— Нет.

— Так как же ты поедешь? Тебя ушлют в какую-нибудь глухую казачью станицу — с тоски умрёшь. Я лучше напишу о тебе генерал-губернатору и попрошу оставить тебя где-нибудь при штабе.

Пете оставалось только поблагодарить.

Он был уверен, что после этого отец уступит. Так и вышло. Против письма великого князя князь Алексей Петрович возражать не посмел.

Кто поджёг Апраксин двор, так и не узнали. Что поджог был, сомнений почти не было: в Троицу и Духов день там не было никого, кроме сторожей, рынок и дровяные склады за Фонтанкой занялись почти одновременно, а за пожаром в Петербурге последовали такие же пожары в провинции. На другой же день Катков обвинил в поджоге поляков и русских революционеров, и в Петербурге и Москве этому поверили. Никаких доказательств ни тогда, ни потом не нашлось. Говорили и обратное: что пожары, особенно приволжские, были делом крепостников, которые хотели напугать царя и добиться отсрочки освобождения.

Как бы то ни было, после пожара Александр II открыто повернул к реакции.

Через несколько дней Петя зашёл к двоюродному брату, флигель-адъютанту Дмитрию Николаевичу, в конногвардейские казармы. Брат до тех пор был усердным читателем «Современника». Теперь он принёс несколько книжек журнала, положил их перед Петей на стол и сказал:

— Отныне, после этого, не хочу иметь ничего общего с зажигательными писаниями. Довольно!

Эти слова отражали мнение «всего Петербурга». Толковать о реформах стало неприлично. «Современник» и «Русское слово» приостановили. Воскресные школы, уже закрытые, запретили окончательно. Начались массовые аресты. 12 июня был арестован и заключён в Петропавловскую крепость Чернышевский. Петербург объявили на военном положении.

13 июня наступил наконец день, которого кадеты и пажи ждали с таким нетерпением. Александр II произвёл им короткий смотр в военных построениях. Выпускные командовали ротами, а Кропоткин гарцевал на коне впереди сводного батальона в должности младшего штаб-офицера. Потом всех произвели в офицеры.

Когда парад кончился, государь громко скомандовал:

— Произведённые офицеры, ко мне!

Они окружили его. Он остался на коне.

— Поздравляю вас. Вы теперь офицеры, — начал он спокойно и заговорил о военных обязанностях, о верности государю, как говорится всегда в таких случаях.

Но вдруг лицо его стало злое, свирепое, и он принялся выкрикивать злобным голосом, отчеканивая каждое слово:

— Но если, чего Боже сохрани, кто-нибудь из вас изменит царю, престолу и отечеству, я поступлю с ним по всей строгости закона, без ма-лей-ше-го по-пу-ще-ни-я!..

Голос его оборвался. Лицо исказилось злобой и тем выражением слепой ярости, которое Петя видел в детстве у отца, когда тот кричал на дворовых: «Я с тебя шкуру спущу!» Петя смотрел снизу вверх на всадника и вдруг увидел — не почувствовал, а именно увидел — сходство. Тот же изгиб губ. Те же выкаченные светлые глаза. Тот же голос, срывающийся на крик.

Государь сильно пришпорил коня и поскакал прочь.

На другой день, 14 июня, по его приказу в Модлине расстреляли трёх офицеров, а рядового Шура засекли шпицрутенами насмерть.

«Реакция — полным ходом», — сказал себе Петя, возвращаясь с парада.

С этого дня Александр II стал ему противен.

Он увидел царя ещё раз, через несколько дней после производства, когда все новые офицеры представлялись во дворце.

Его более чем скромный мундир — чёрный, с простым красным воротником — и знаменитые серые шаровары привлекали всеобщее внимание. Каждую минуту к нему подходили офицеры всех чинов и спрашивали, что это за форма такая. Амурское казачье войско было самым молодым в армии, и Кропоткин стоял почти в самом конце длинного ряда из нескольких сотен представлявшихся офицеров. Государь отыскал его глазами.

— Так ты едешь в Сибирь? Что ж, отец твой согласился?

— Да, ваше величество.

— Тебя не страшит ехать так далеко?

— Нет, — с жаром ответил Петя. — Я хочу работать. А в Сибири так много дела, чтобы проводить намеченные реформы.

Александр II посмотрел на него пристально. Задумался на минуту и, глядя куда-то вдаль, мимо него, сказал наконец:

— Что ж, поезжай. Полезным везде можно быть.

И лицо его приняло выражение такой усталости, такой полной апатии, что Петя тут же подумал: «Он конченный человек. Он теперь сдастся совсем».

Петербург стал мрачным. По улицам ходили отряды пехоты, вокруг дворца разъезжали казачьи патрули. Петропавловская крепость наполнялась политическими заключёнными. Куда бы он ни приходил, он видел одно и то же — торжество реакции.

Каждый день он ходил в казачье управление торопить бумаги. Муж Лены, жившей теперь в Ярославле, всё ещё усерднейшим образом переписывался с отцом, добиваясь, чтобы тот назначил Пете подходящее содержание для службы в гвардии. Было поздно. Бумаги наконец выправили.

24 июня 1862 года он выехал из Петербурга по Николаевской железной дороге. В вагоне он открыл новую тетрадь — дневник, который решил теперь вести, — и написал первую строчку:

«Наконец-то навсегда выбрался я из Петербурга. Пора, давно пора».

Он оставлял Петербург без сожаления.

В Москве его ждал Саша.

Они не виделись с осени. Саша похудел после ареста, был без места и без университета, но глаза блестели так же. Увидев брата в чёрном мундире с красным воротником, он отступил на шаг, оглядел его с головы до ног — папаху, шаровары — и захохотал.

— Сулима! — сказал он, отсмеявшись. — Ну вылитый Сулима. Запорожец. Только чуба не хватает.

— Не запорожец, а амурский казак, — сказал Петя с достоинством.

— Это одно и то же, — сказал Саша. — Бабушка была бы довольна.

Он вдруг перестал смеяться.

— Ты помнишь, как она говорила? «Князей туда не брали».

— Помню.

— Ну вот. А тебя взяли.

Они проговорили всю ночь — в последний раз, как в детстве в Старой Конюшенной. О книгах, которые Петя берёт с собой. О том, что Саша, может быть, тоже уедет в Сибирь, через год-два, когда как-нибудь устроится. Об отце, о Лене. О матери. Петя показал брату тетрадь

Рылеева, найденную в Никольском, и листок с колыбельной. Саша долго держал листок в руках, ничего не говоря.

— Ты будешь писать? — спросил Саша под утро.

— Каждую неделю. Как всегда.

— Нет, я не о том. Ты будешь писать — для печати?

Петя рассказал, что уже договорился. Он зашёл к Павлу Михайловичу Леонтьеву, соредактору Каткова по «Русскому вестнику», и условился присылать корреспонденции из Сибири для «Современной летописи».

— И как ты будешь подписываться? — спросил Саша. — «Князь Кропоткин»?

— Никак. Без титула. Я с Леонтьевым так и уговорился.

Саша кивнул. Ему, кажется, понравилось.

Последней остановкой было Никольское.

Он прожил у отца около недели. Отец постарел, был мрачен и смотрел на сына в серых шароварах с плохо скрытым недоумением. Дом опустел: дворовые разошлись, оркестр играл в Калуге, Ульяны и Фрола не было. Мачеха жаловалась, что некому подать чай.

Петя ходил по деревне. Прошло пятнадцать месяцев после манифеста, и он не мог налюбоваться никольскими крестьянами. Врождённая доброта и мягкость остались, но клеймо рабства исчезло. Мужики говорили с бывшими господами как равные с равными, будто никогда и не было иных отношений. Василий Иванов, староста, встретил его посреди улицы, оглядел мундир, покачал головой и сказал:

— Далёко, Пётр Алексеевич. Ну, коли тебе это для дела нужно, то и поезжай. А может, и нам пригодится.

Это была та же фраза, что он сказал четыре года назад на ярмарке.

У соседа, полковника Еропкина, была дочь Лида. Петя бывал у Еропкиных в эту неделю несколько раз, и однажды вечером в саду, когда все ушли в дом, Лида спросила его, правда ли, что он уезжает на край света, и когда вернётся. Он сказал, что не знает. Она помолчала и сказала, что будет ждать писем. Петя потом записал в дневнике, что Лида — первая девушка, которая, кажется, почувствовала к нему некоторую симпатию.

Больше ничего между ними не было.

В последний вечер он сидел у раскрытого окна флигеля — того самого, где когда-то жил с Сашей и Пулэном, — и записывал в дневник Пушкина, монолог Фауста, «К Лазарю» Гейне. Под окном шумела Серена. За ней темнели леса, которые он знал с детства.

Утром он уехал. Расставание с Никольским вышло хладнокровнее, чем когда-либо, — так он записал. Он смотрел на удаляющийся барский дом, на церковь, на остатки Серенской крепости, на жёлтое море хлебов, и думал, что, может быть, не увидит их больше никогда. И не чувствовал печали. Впереди был Владимир, Нижний, Кама, Урал — и Азия.

В кармане мундира, рядом с подорожной, лежал сложенный листок нотной бумаги со словами колыбельной.



## Глава 8. Европа — Азия

*Нижний Новгород, Кама, Пермь, Урал, Западная Сибирь, Иркутск; июль — сентябрь 1862*

В Нижний он приехал накануне открытия ярмарки.

На стрелке, где Ока входит в Волгу, стоял лес мачт. Баржи, расшивы, беляны, пароходы с высокими трубами теснились борт о борт, и по сходням, по берегу, по мосту катилась непрерывная людская река: грузчики с кулями на спинах, приказчики в картузах, купцы в длиннополых сюртуках, татары в тюбетейках, персияне в высоких шапках. И повсюду, у каждой паперти, у каждого трактира, у каждого поворота, сидели нищие. Их было столько, сколько Пётр не видел за всю жизнь, — целая армия калек, слепцов, старух с детьми, привлечённая ярмаркой, как воронье обозом.

Он стоял на мосту через Волгу, когда снизу, с реки, донеслась песня.

По воде шла барка, и гребцы налегали на длинные вёсла, все разом, в такт. Пели они протяжно, без слов или почти без слов, — один голос заводил, остальные подхватывали, и звук тянулся над водой, обрывался и начинался снова, такой же тяжёлый, такой же бесконечный. Это была не песня, а что-то другое. Пётр слушал, не двигаясь, пока барка не ушла под мост.

Вечером, в гостинице, он записал в новую дорожную тетрадь: песня, «более похожая на стон». И, помедлив, прибавил, что в ней есть «что-то дикое, возмущающее душу, наводящее грустную думу, бессильную злобу, желчную задумчивость».

Денщик Петров, калужский мужик, взятый в солдаты лет десять назад и приставленный к нему в Петербурге, стоял тогда на мосту рядом и тоже слушал. Когда барка скрылась, он сказал: — Это ещё, ваше сиятельство, на вёслах. А как бечевой тянут, по берегу, — вот там поют. Больше он ничего не прибавил. Петров вообще говорил мало.

Из Нижнего пароход «Купец» пошёл вниз по Волге.

Под вечер солнце садилось за луговой берег, вода стала розовой, потом медной, и Пётр, стоя у борта, вдруг увидел Серену — узкую речку под окнами никольского флигеля, ивы над ней, мостки, где бабы колотили бельё вальками. Ничего похожего на Волгу. И всё-таки он видел именно её.

«Да, Никольское дорого по воспоминаниям детства, — записал он ночью, — а оно, как и всякое детство, не было безотрадным при всей гадости, которая окружала меня».

Вспомнил и Лиду — «милое создание». Но, перечитав строку, заметил, что вспоминает её уже не так, как неделю назад, и не стал ничего прибавлять.

Утром 31 июля пришли в Казань. Потом «Купец» свернул в Каму.

На каждой пристани Пётр сходил на берег. Он теперь был корреспондентом «Современной летописи», и всё, что он видел, надо было увидеть так, чтобы потом можно было рассказать. Под Елабугой ночью в полях горели сотни огней, будто там стояло лагерем целое войско. Оказалось, крестьяне обжигали гипс, которого полно в береговых обрывах, на алебастр. В Сарапуле, городе сапожников, он заходил в мастерские, где за низкими верстаками сидели по пять, по восемь человек, и спрашивал, сколько пар выходит в неделю и почём их берут скупщики. Сапожники отвечали охотно и с усмешкой: барин в чёрном мундире с красным воротником, а спрашивает, как мужик на ярмарке.

Пермь встретила его тишиной.

Такой тишины он не слышал ни в одном городе. Широкие улицы, большие казённые дома, пустые площади — и ни души. «Невыносимая тишина и безлюдье», — записал он.

Тишину нарушал только звон.

Сначала он не понял, что это. Звон шёл с окраины, глухой и мерный, как будто кто-то вёл по мостовой цепь. Потом из-за угла показалась серая колонна. Партия ссыльных шла на этап: человек сто в серых халатах, с бритыми наполовину головами, в ножных кандалах, подвязанных к поясу бечёвкой, чтобы не били по щиколоткам. По бокам шли конвойные с ружьями. Сзади тянулись телеги с бабами и детьми — семьи, шедшие в Сибирь за мужьями.

Пётр стоял на тротуаре, пока партия не прошла. Сколько ни видел он потом этих партий, этот первый звон остался в памяти отдельно, как первая порка Макара.

В Перми партии стояли подолгу — для проверок, расчётов, пересчёта. Он заметил то, чего не ожидал. Из местного острога навстречу партии выходили арестанты, свои, пермские, и несли в больших ушатах на шестах щи. Ставили ушаты у этапной избы, и проходящие садились вокруг с деревянными ложками. Конвойный унтер не мешал: так было заведено. Пётр видел, как один из пермских, рыжий, с клеймом на лбу, разливал щи по чашкам, а потом отдал свой кусок хлеба старику из партии, который не мог жевать — у него не было зубов.

— Это кто же им велит? — спросил Пётр у конвойного.

— Никто не велит, ваше благородие. Так водится. Они сами — вчера шли, завтра опять пойдут. Острожные, они друг дружку знают.

В торговый день, ровно в полдень, — не утром, а именно в полдень, когда на площади больше всего народу, — мимо окон гостиницы с барабанным боем проехала позорная колесница. На ней был врыт столб, к столбу привязан человек с доской на груди. Народ расступался и молча смотрел.

Обе вещи — щи в ушатах и колесница со столбом — он записал рядом, в одном абзаце, и так и отослал. Первое письмо «На пути в Восточную Сибирь» было датировано 6 августа. Две страницы — Владимир в вишнёвых садах, Нижегородская ярмарка, Кама, Пермь. Подписи с титулом под ним не было: так он уговорился с Леонтьевым.

В тот же день он написал Саше: «Сейчас отправляю письмо Леонтьеву, недельки через три по получении этого письма зайти в редакцию и справься, напечатают или нет». Деньги, если заплатят, — брату. Саша сидел без отцовского содержания, а Петру на Амуре, рассуждал он, деньги нужнее будут не скоро.

Это было первое из двадцати трёх писем. Никто тогда не знал, что их будет двадцать три, и меньше всех он сам.

От Перми поехали на перекладных, в тарантасе.

Тарантас был собственный, купленный ещё в Москве, — большая плетёная корзина на длинных дрогах, без рессор. Длинные дроги должны были смягчать толчки. Смягчали они плохо. Дорога за Пермью была выстлана крупным плоским камнем, и ящик ещё на станции предупредил:

— Тут, барин, все зубы выколотишь.

Выколачивало действительно все. Петров, привыкший к телегам, держался молодцом, а Пётр через час уже сидел, вцепившись обеими руками в края корзины, и всё равно смотрел по сторонам, потому что впервые в жизни видел горы.

«Целый день тащились по горам, — записывал он на станциях. — Горы и леса... Наконец, вдали показалась главная цепь гор: синеватою грядою тянулась она перед глазами. Огромные леса покрывали её...»

Он ждал чего-то вроде Альп — острых вершин, снега, обрывов. Урал оказался другим: длинные, плавные, лесистые валы, один за другим, как застывшие волны. Тарантас взбирался

на подъём, долго полз по гребню, спускался — и впереди вставал следующий вал. Где же сам хребет? — думал он. Через несколько лет, над картами Восточной Азии, этот вопрос вернётся к нему в другом виде, и ответ на него станет главным открытием его научной жизни. А пока он просто удивлялся.

На перевале, у дороги, стоял столб светло-серого мрамора, обнесённый оградкой. Рядом — избушка сторожа. На одной стороне столба было выбито: «Европа». На другой: «Азия».

Петров долго разглядывал столб.

— А вот, ваше сиятельство, памятник какой-то, что ли?

Ямщик обернулся с козел и спокойно пояснил:

— Да это Уральский хребет.

Петров посмотрел вокруг — на такие же лесистые валы, как те, что они проехали утром, и как те, что лежали впереди, — и ничего не сказал. Видно было, что хребет он представлял себе иначе.

Пётр вышел из тарантаса, сел на камень и зарисовал в тетрадь столб, оградку и избушку сторожа. Потом обошёл столб кругом. С одной стороны Европа, с другой Азия. Шаг — и ты в другой части света. Он сделал этот шаг, и ничего не случилось. Та же трава, тот же ельник, тот же ямщик поправляет чересседельник.

— Пётр Алексеевич, — спросил вдруг Петров, когда тронулись (он путал «сиятельство» и «Пётр Алексеевич», смотря по настроению), — а в Азии господа есть?

— Чиновники есть. Начальство есть. А помещиков, говорят, нет.

— Как же нет?

— Так. Крепостного права здесь никогда не было.

Петров подумал.

— А кто ж тогда у них за порядком смотрит?

Пётр не нашёлся, что ответить, и засмеялся. Вопрос был, в сущности, тот же, который задавал себе весь Петербург, только без французских слов.

За перевалом дорога пошла под гору. «Белые колокольни на горизонте; впереди пологие спуски восточного склона, кругом невообразимые леса... — записал он вечером. — Мы въехали в Азию физическую».

Екатеринбург оказался совсем европейским городом — каменные дома, заводы, шум. «Город живущий и живучий», — написал о нём Пётр. Когда-нибудь здесь пройдёт сибирская железная дорога. Её ещё не было даже в проектах, но он был уверен, что она будет.

За Тюменью началась Тобольская губерния, и Пётр понял, что такое настоящая дорога.

На десятки вёрст тянулись бревенчатые гати среди болотистого леса. Брёвна, положенные поперёк, давно сгнили и разошлись, между ними стояла чёрная жижа. Лошади вязли по брюхо, тарантас подпрыгивал на брёвнах, как мячик, и Петров, крестясь, держал хозяйский чемодан с книгами обеими руками. Мелкий березняк по сторонам, кочки, болотная вода, комары тучей. Одна станция походила на другую, и между ними — та же гать.

Но на станциях его ждало удивление.

Чисто. Везде, на каждой станции, необыкновенно чисто: выскобленные добела полы, вымытые лавки, полотенца на гвоздях, самовар, который ставили, не дожидаясь приказа. Избы большие, рубленные из толстого леса, крепкие, аккуратные, с резными наличниками. Люди сытые, рослые, спокойные. Никто не кланялся в пояс, никто не снимал шапки за версту, как в калужских деревнях. С ним разговаривали прямо, глядя в глаза, — уважительно, но как равные.

«Чем объяснить это довольство на болотистых тюменских равнинах?» — спрашивал он в письме для «Летописи». И отвечал сам: «Главная причина, конечно, предприимчивость и трудолюбие, свойственные всем выходцам, а потом, отсутствие крепостного права...»

Это было правдой. Но это было не всё. Остальное он увидел через два дня, на станции, название которой потом так и не смог вспомнить.

Они приехали в село поздно вечером. Лошадей на станции не было, и смотритель предложил заночевать у ямщика, в большой избе на краю села.

Хозяйка, высокая старуха в тёмном повойнике, собрала им ужин — щи, шаньги, творог, молоко. Ели при лучине. Когда кончили, старуха взяла с полки краюху хлеба, отрезала добрый ломоть, налила в крынку молока и поставила всё это на узкую полочку снаружи, под окном, прикрыв ставню так, чтобы с улицы было видно и можно было взять.

Петров проводил её глазами.

— Это кому же, бабушка?

— Несчастненьким, — сказала старуха так, будто речь шла о самом обыкновенном.

— Каким несчастненьким?

— Ну, которые идут. Из заводов, с каторги. Бродяжки.

Петров даже привстал.

— Беглым? Да ведь за это...

— А что за это? — старуха посмотрела на него без всякого смущения. — Он живая душа. Идёт себе ночью, голодный, к дому своему пробирается, в Расею. Возьмёт хлеб — и дальше пойдёт. Голодный — он злой, ему с голоду и топор недолго взять. А сытый никого не тронет. Да и не в том дело.

— А в чём?

Старуха помолчала, вытирая стол.

— У меня, батюшка, у самой брат по этой дороге пошёл. Сорок лет тому. В той стороне. — Она махнула рукой на восток. — Может, и ему где поставили. Сегодня он идёт, а завтра твой пойдёт. Тут у всех так.

— И у всех полочки?

— У всех. Испокон.

— А кто велел? — спросил Пётр. Он сам не понимал, зачем спрашивает. Ответ был ясен.

— Кто ж такое велит? — удивилась старуха. — Начальство не велит. Начальство, оно, может, и не любит. А мы ставим.

Ночью Пётр долго не мог заснуть. Изба была тёплая, пахло хлебом и овчиной, Петров храпел на лавке у печи. Под окном стояла крынка. Пётр лежал и слушал. Под утро ему показалось, что за ставней кто-то тихо прошёл и что-то звякнуло. Утром полочка была пустой.

Назавтра лошадей опять не дали — вся ямская гоньба была в разгоне, — и до обеда пришлось сидеть в селе. Пётр пошёл посмотреть поля.

Жали рожь. В полуверсте от села, на большой полосе, работало человек сорок — мужики, бабы, подростки, — серпами, в ряд, с песней. Работали споро и весело, как на празднике. На меже стояли телеги, на одной сидели дети и стерегли бочонок с квасом.

— Чья полоса? — спросил Пётр у ямщика, который его провожал.

— Вдовы Агафьи. У неё мужика весной Тоболом унесло. Сама с ребятами не управится. Вот мир и вышел.

— Мир?

— Ну, общество. Помочь, значит. Сегодня всем селом ей, вечером она угостит, чем богата. А там, глядишь, у кого-нибудь ещё беда — опять помочь.

— А кто их выгнал на работу? Староста?

Ямщик засмеялся и показал серпом:

— Да вон староста. Жнёт.

Действительно, среди жнецов был кряжистый мужик с медной бляхой на груди. Он шёл в ряду наравне со всеми и, кажется, пел громче всех.

Петров, увязавшийся за Петром, стоял на меже и смотрел, приоткрыв рот. Потом сказал, обращаясь не то к барину, не то к самому себе:

— У нас, Пётр Алексеевич, к барскому полю тоже всем селом выходили. И тоже, бывало, пели. Только сзади бурмистр с палкой. А чтоб так — для бабы, задаром...

Он замолчал и вдруг, сам себе не веря, снял шинель, бросил её на телегу, попросил у одной из баб запасной серп и пошёл в ряд. Бабы засмеялись, кто-то крикнул: «Гляди-ка, солдастик!» Петров жал до самого обеда, неловко с непривычки, но не отставал.

Пётр смотрел на него и думал о Никольском. О дворовых, которые две ночи прятали Сашу от отца и молчали, как один человек. О том, что и там, в крепостной деревне, где за разбитую тарелку можно было попасть в солдаты, жило то же самое — только придавленное, загнанное, спрятанное от барского глаза в людскую, на кухню, в шёпот. А здесь его не надо было прятать. Здесь не было барина двести лет, — и люди не разучились жить вместе. Может быть, именно поэтому и не разучились.

Он не записал этого в письмо для «Летописи». Эту мысль нельзя было напечатать в «Московских ведомостях», да он и сам ещё не умел её сказать. В дорожной тетради осталась одна строчка: «Помочь у вдовы. Староста жнёт со всеми. Никто не приказывал».

Вечером, когда тронулись, ямщик рассказал, как в селе устроена сама ямская гоньба: кто в какую очередь возит, кто держит сколько лошадей, кому достаются выгодные курьерские прогоны, а кому — пустые. Всё это решал мир на сходке, и решал так, что никто не был в обиде, а если обижался, то шёл на сходку и говорил. Смотритель станции, казённый человек, в эти дела не вмешивался: он только расписывался в подорожных.

— А если б он вмешался?

— А чего ему вмешиваться? — сказал ямщик. — Лошади-то наши.

Омск был «город, идущий вперёд, с признаками жизни на улицах, город военный, центр управления Западной Сибирью», — так он написал. Генералы, канцелярии, штабы, казармы Сибирского казачьего войска. В штабе ему выправили новую подорожную, и, чтобы дать отдохнуть лошадям, он заночевал не в городе, а в казачьей станице, в нескольких верстах вверх по Иртышу.

Станица была большая, вытянутая вдоль реки: широкая улица, крепкие дома, церковь, дощатый станичный дом, над ним шест с флюгером. Под вечер у станичного дома собрался сход. Пётр, в своей папахе и чёрном мундире, подошёл и встал в сторонке.

Его заметили сразу. Казаки оглядели новую, невиданную здесь форму, папаху, серые шаровары — и один, седой, с серебряной серьгой в ухе, спросил:

— Это какого ж войска будете?

— Амурского конного.

— А-а, — протянул старик с уважением и вместе с сочувствием. — Далёко. Наших туда тоже набирали. Ну, стойте, слушайте. Нам скрывать нечего.

Сход делил покосы. Луга за рекой, заливные, были общие, станичные, и каждый год их делили заново — по жребью, чтобы никому не доставался всегда лучший кусок. Писарь выкрикивал участки, старики тянули из шапки бумажки, кто-то ругался, кто-то смеялся, а потом всё

затихало и решалось. Затем заговорили о семье казака Черкасова: сына взяли на линию, на дальнюю службу, старик Черкасов слёг, и покос им не под силу.

— Выкосим, — сказали из толпы. — Чего говорить.

— По два двора на день, — сказал кто-то другой. — С понедельника.

Ни споров, ни голосования. Просто — выкосим.

Седой казак с серьгой отошёл к Петру.

— Видали? У нас так: покос — по жребию, беда — сообща. Деды так жили. — Он помолчал и прибавил тише: — Деды, бывало, и атамана сами себе выкрикивали. На кругу. А нынче атамана из Омска присылают. Ну да мы и с присланным живём. Только дела делаем по-своему.

Пётр смотрел на казаков, на писаря с шапкой, на старика Черкасова, которого привели под руки, чтобы он сказал «спаси Христос», — и слышал голос, которого не слышал больше пятнадцати лет. Бабушка Сулима, маленькая, в чёрном, говорит двум мальчикам у себя в Москве: у нас в Сечи было так. Сами решали. Сами выбирали атамана, а не понравится — сами и скидывали. Князей туда не брали.

И другой голос, с калужской дороги, старый, с хрипотцой: «Нема в нас пана — отаман».

Здесь, на Иртыше, за три тысячи вёрст от Днепра, люди, которые никогда не слышали про Сечь, делили луга так, как, должно быть, делили их запорожцы. Их никто этому не учил. Жизнь научила — граница, степь, долгие зимы, когда в одиночку не выжить.

Ночевал он у вдовы-казачки, в чистой горнице с геранью на окнах. Перед сном, раскладывая на столе тетрадь, он нащупал в кармане сложенный листок нотной бумаги, вынул, развернул и, сам того не замечая, стал тихо напевать.

*Ой ходить сон коло вікон...*

Хозяйка, проходившая с ведром через сени, остановилась в дверях.

— Это где ж вы, ваше благородие, такую взяли?

— Мать пела. Давно.

— Это ж наша, — сказала казачка. — Черкасская.

— Как — черкасская?

— А так. Мы ж Черкасовы. И те Черкасовы, что за рекой, — родня. Прадеда сюда ещё при царице пригнали, с Украины. Он тут в казаки и вышел. И колыбельную эту бабка мне пела, а я — своим.

Она поставила ведро, присела на лавку у двери и негромко, чуть иначе, чем помнил Пётр, допела до конца: про сон, который ходит у окон, про дрему, которая ходит у тына, про сына, которому надо спать. Слова были те же, напев почти тот же. Только кое-где она выговаривала их иначе — так, как пела когда-то Ульяна, а не так, как было записано в маминой тетради.

Петров, сидевший на пороге с сапогом и щёткой, слушал, перестав чистить.

— Так вы, выходит, ваше сиятельство, тоже казак? — спросил он, когда хозяйка ушла.

— Наполовину. По матери.

— То-то я гляжу, вы в казаки выписались, — сказал Петров рассудительно. — А не в гвардию.

Пётр рассмеялся.

— И вот что, Петров. Не зови меня больше сиятельством. Здесь это ни к чему.

— Как же звать?

— Пётр Алексеевич.

Петров вздохнул.

— Не могу я так сразу, ваше сиятельство. Привычка.

Листок с колыбельной Пётр в ту ночь положил не в карман, а в дорожную тетрадь, между страницами, рядом с рисунком мраморного столба.

За Омском началась Бараба.

Это была не степь и не лес, а что-то третье: бескрайняя равнина, поросшая берёзовыми колками, высокой травой, камышом, и вся в озёрах. Озёра попадались каждые несколько вёрст — большие и малые, пресные и горько-солёные, с плоскими топкими берегами, — и на каждом кипела птица.

Пётр никогда не видел столько птиц сразу. Утки разных пород, которых он не мог назвать, — серые, пёстрые, чёрные с белым — покрывали воду сплошным ковром. Над ними с криком вились чайки и крачки. В камышах переговаривались лысухи. На отмелях, на одной ноге, стояли цапли. Когда тарантас проезжал близко, над озером поднималась туча — тысячи крыльев разом, шум, как от ветра, — делала круг и снова садилась, на то же место, все вместе.

Был конец августа. Молодые выводки уже встали на крыло, и Пётр видел, как они сбиваются в стаи — не по семьям, а все вместе, десятки выводков в одну стаю. Целыми днями стаи держались вместе, кормились вместе, вместе поднимались, вместе садились. Ямщик сказал, что это они перед отлётом «табунятся» и будут так ходить до первого снега, а потом снимутся все разом и уйдут на юг.

На закрайке одного озера он заметил журавлей. Стая кормилась на лугу, а два журавля стояли в стороне, вытянув шеи, и не ели. Когда ямщик слишком близко подошёл, один из сторожей крикнул — и вся стая разом поднялась.

— Караульщики, — сказал ямщик. — У них всегда караул. Покуда одни едят, другие смотрят. Потом меняются. Как у солдат.

Пётр вспомнил статью о новой книге англичанина Дарвина, прочитанную ещё в корпусе, в одном из петербургских журналов. Там было новое выражение — «борьба за существование» — и пересказ того, что всякое живое существо рождается в избытке и что из множества выживают лишь сильнейшие, в беспощадной борьбе друг с другом за пищу и место. Мысль казалась тогда неотразимой. Он и сейчас не видел, где в ней ошибка. Но журавли с караульщиками в неё не укладывались.

Под Каинском их застал снег.

Днём было тепло, даже душно, над камышами стояли тучи мошки. К вечеру с севера потянуло холодом, небо затянуло низко и плотно, и около полуночи, когда тарантас подъезжал к станции, пошёл снег — густой, мокрый, настоящий. Пётр не поверил своим глазам. Август, хлеб ещё в поле.

— Бывает, — сказал станционный смотритель, принимая подорожную. — У нас и в июле бывает. Сибирь.

Утром вся Бараба была белая. Снег лежал на траве, на берёзах, ещё зелёных, на неубранных копнах. К полудню он стоял, но то, что он сделал, осталось.

Мошка исчезла. Её не было ни над водой, ни над травой, и Пётр, нагнувшись, увидел, что вся трава у дороги усыпана мёртвыми насекомыми — мошкой, комарами, мотыльками, жуками, — их были мириады, они лежали чёрной каймой у каждой лужи. На краю колка ямщик показал ему гнездо в низком кусте: второй, поздний выводок какой-то мелкой птицы. Четыре голых птенца лежали в гнезде мёртвые, окоченевшие. Родителей рядом не было.

— Вот она, борьба, — сказал Пётр вслух, сам не зная, кому.

Ямщик не понял и промолчал.

На озере за станцией птицы сидели плотнее, чем вчера. Молодые утки сбились в такую тесную кучу у подветренного берега, в камышах, что вода между ними была не видна. На лугу

ямщицкие лошади, пущенные на ночь в поле, стояли в ложине, тесно, голова к хвосту, грея друг друга.

— Табун, он завсегда в кучу, — сказал ямщик, проследив его взгляд. — Буран ли, волк ли. Волк придёт — жеребцы кругом станут, кобылы с жеребятами в середку. Ни один волк не возьмёт. А которая лошадь отобьётся, испугается да побежит одна — та и пропала. Её и волк возьмёт, и буран заметёт.

Пётр долго стоял на берегу.

Борьба была. Он видел её своими глазами — в мёртвых птенцах, в чёрной кайме из насекомых, в убитых за ночь мириадах жизней. Но с кем она шла? С морозом. С бураном, с голодом, с ранним снегом. Птицы не дрались между собой из-за места у подветренного берега: они жались друг к другу. Лошади не отбивали друг у друга тёплую ложину: они стояли в ней вместе. Журавли караулили друг друга. Против безжалостной природы все были заодно, и сильнее был не тот, кто сильнее, а тот, кто не отбивался от своих.

Вечером он записал в тетради: «Снег 20 августа. Страшная гибель насекомых и поздних выводков. Птицы и лошади — все в кучу. Борьба — да. Но с кем?»

Через четыре года, на Витиме, он задаст этот вопрос вслух — молодому зоологу Полякову, у костра, в горах, где звери ещё не боялись человека. Через двадцать лет, в тюрьме Клерво, прочтёт речь петербургского профессора Кесслера о законе взаимной помощи и узнает в ней свои сибирские мысли. А ещё через двадцать, в Бромли, под Лондоном, напишет книгу, которая начнётся с Сибири: с метелей в конце зимы, с морозов, возвращающихся в мае, когда деревья уже цветут, и с глубоких снегов, которые выпадают в июле и августе даже в луговых степях Западной Сибири и разом губят мириады насекомых и вторые выводки птиц.

Пока он ничего этого не знал. Ему было девятнадцать, и он ехал на Амур.

Не доезжая Томска, на размытом участке тракта, тарантас уткнулся в хвост обоза.

Обоз был большой, подвод на шестьдесят, с товаром на восток, в Иркутск. У передних телег в грязи по ступицу сидел воз: лопнула ось. И весь обоз встал. Ни одна подвода не объехала его, хотя объехать было можно — обочиной, по траве. Извозчики подошли со всех концов, кто с топором, кто с верёвкой. Воз разгрузили, тюки перенесли на соседние телеги, из запасной лесины тут же, на месте, вытесали новую ось. Распоряжался всем пожилой мужик в армяке, передовщик, — его, как объяснили Петру, выбрала сама артель ещё в Иркутске, на весь путь. Но и он больше работал, чем командовал.

— Чего ж вы его не объехали? — спросил Пётр у одного из извозчиков. — Встали бы на станции, а он бы догнал.

Извозчик посмотрел на него, как на ребёнка.

— А ежели с нами тоже так? Обоз — он один. Одну подводу бросишь — завтра тебя бросят.

Пётр вспомнил калужскую дорогу, скрип немазанных колёс, украинских чумаков с солью, валку из двадцати возов, которая вставала, если у одного ломалось колесо, и седого старика с длинными усами, который говорил мальчику в смушковой шапке: «Рости, козаче. Тільки не будь паном». Те чумаки шли с Днепра на Калугу, эти извозчики — из Иркутска в Томск. Тысячи вёрст между ними, и никто никого не учил. А порядок был один.

В Томск он приехал 25 августа.

Город понравился ему с первого взгляда: «довольно большой, красивый губернский город... весь обстраивающийся и, к счастью, не совсем похожий на русские губернские города; в нём скука, говорят, не заедает обывателей, как, например, в Перми».

Здесь несколько лет жил ссыльный Бакунин. Это имя Пётр слышал в Петербурге шёпотом, вперемешку с Герценом: человек, просидевший годы в саксонских и австрийских тюрьмах, потом в Петропавловской крепости и Шлиссельбурге, сосланный в Сибирь, а прошлым летом бежавший — через Амур, через Японию и Америку — в Лондон. Где-то здесь, на этих улицах, он ходил, говорил, спорил. Пётр спросил о нём у зрителя, у содержателя гостиницы, у знакомого офицера. Ему отвечали неохотно и разное. Одни говорили, что Бакунин был весёлый барин, давал уроки и здесь же, в Томске, женился. Другие — что от него одно беспокойство.

В очерке для «Летописи» он подвёл итог всему, что увидел за Уралом: Сибирь — «богатейшая страна, с прекрасным, не загнанным населением, но страна, для которой слишком мало сделано».

«Не загнанным» — слово вышло само собой, и он оставил его. Оно было точнее всех остальных.

В тетради, под той же датой, стояла ещё одна строчка, которая в очерк не попала: «Слишком мало сделано — кем? Начальством. А сколько сделано без него?»

За Томском дорога стала лучше, а за Красноярском, куда он приехал 30 августа, началась Восточная Сибирь — с шоссе, мостами, перилами, верстовыми столбами. Всё это осталось от графа Муравьёва-Амурского, бывшего генерал-губернатора, который присоединил Амур, привёл с собой молодых, честных офицеров и выгнал из края старых чиновников-грабителей. Пётр ехал по его мостам и думал, что, может быть, правы те, кто говорит: дайте хорошего начальника — и всё пойдёт. Муравьёв был хорош. Мосты стояли.

Но крынку молока под окном поставил не Муравьёв. И вдову Агафью выручил не он. И покосы на Иртыше делили без него.

В Иркутск он въехал 6 сентября, под вечер.

Город стоял на том берегу Ангары, и Ангара оказалась такой рекой, какой он ещё не видел: широкая, прозрачная до дна, ледяная даже на вид, она неслась мимо с такой силой, что вода у берега закручивалась воронками. Моста не было. Переправлялись на пароме, который здесь называли «самолётом»: большой плот на лодках, привязанный длинным канатом к якорю посреди реки. Течение само толкало его от берега к берегу, как маятник, — паромщики только поворачивали руль. Тарантас вкатили на настил, лошадей держали под уздцы, и паром, накренившись, пошёл через реку. Петров, бледный, крестился. Пётр стоял у края и смотрел, как в зелёной воде мелькают камни на дне.

Деревянный город, почти весь деревянный, двадцать тысяч жителей, церкви, гостинный двор, триумфальная арка с надписью «К Великому океану». Гостиница называлась «Амур».

В номере он сел к столу, открыл тетрадь и написал: «Вот и всё, вот и все трудности».

Он ехал полтора месяца. Больше пяти тысяч вёрст.

Генерал-губернатор Корсаков жил за Ангарой, в большом доме, и принял его через два дня.

Михаил Семёнович был молод для своей должности — ему не было и сорока, — любезен, щеголеват, говорил по-французски с петербургским выговором. Он только что сменил Муравьёва и, видно было, хотел сохранить муравьёвский дух. Он сказал, что очень рад видеть возле себя людей либерального образа мыслей: работы много, а людей мало. Письмо великого князя он уже получил.

Потом посмотрел на Петра пристально и с улыбкой спросил:

— Скажите, Кропоткин, по правде: за что вас сюда назначили?

— Ни за что, ваше превосходительство. Я сам выбрал.

— Сами? Камер-паж его величества, первый ученик — и сами в Амурское казачье войско?

— Сам.

Корсаков, кажется, не поверил. Он помолчал, пожал плечами и сказал:

— Впрочем, это меня не касается.

И перешёл к делу.

Наутро в гостиницу явился писарь из штаба: начальник штаба генерал Кукель просит господина Кропоткина к себе.

Пётр надел парадную форму — всё, что полагалось, вплоть до перчаток, — и пошёл. Генерал Кукель, молодой, лет тридцати пяти, с открытым живым лицом, встретил его в кабинете в простом сюртуке, оглядел с головы до ног, засмеялся и сказал:

— Голубчик, это вы к Корсакову так ходите. А ко мне — в чём удобнее. Ступайте переодевайтесь и приходите обедать.

Пётр вернулся в обыкновенном мундире. Обед был семейный: жена Кукеля, дети, пара офицеров из штаба. После обеда Кукель сел за рояль и спел что-то из Глинки — он, оказалось, был отличный пианист и певец. Потом встал и сказал:

— Идёмте, я вам кое-что покажу.

Он провёл Петра через гостиную в небольшую комнату с окном во двор. По стенам стояли полки. На полках лежали лучшие русские журналы — «Современник», «Русское слово», «Отечественные записки» — и полная коллекция лондонских изданий Герцена. Все листы «Колокола» за целый год, по порядку, в стопке на столе. «Полярная звезда» — с медальоном на обложке, на котором пять профилей повешенных декабристов, и среди них Рылеев. «Голоса из России». Брошюры Вольной русской типографии.

Пётр стоял и не мог поверить. В Петербурге за «Колокол» сажали. В корпусе его читали тайком, по ночам, передавая из рук в руки один растрёпанный номер. А здесь, в доме начальника штаба Восточной Сибири, правой руки генерал-губернатора, всё это лежало на столе открыто, как «Губернские ведомости».

— «Колокол» приходит к нам всем годом, — сказал Кукель. — Прямо из Лондона. Читайте сколько хотите. Берите домой.

Пётр взял с полки «Полярную звезду» — ту самую, с медальоном, которую когда-то тайком дала ему кузина Варенька Друцкая: «Смотри, Петя, тебя так же повесят!» Он смотрел на профиль Рылеева и вспоминал тетрадь матери, где было переписано «Исповедь Наливайки».

— Всякое насилие есть мерзость, — сказал Кукель за его спиной. — Дайте свободу!

Пётр обернулся. Кукель говорил это просто, без пафоса, как говорят давно обдуманную мысль, которую повторяют много раз. Потом Пётр узнал, что это была любимая фраза генерала и что он повторял её всякий раз, как речь заходила о Польше, о крестьянах, о ссыльных, о Петербурге.

— Вы думаете, дадут? — спросил Пётр.

Кукель посмотрел на него внимательно.

— Здесь — может быть. Здесь далеко. Пока Петербург доберётся, мы многое успеем. Через несколько недель я еду в Читу, губернатором Забайкалья. Там будут комитеты, реформы, проекты — тюрьмы, ссылка, городское самоуправление. Нужны люди, которые умеют писать и думать. Хотите со мной? Адьютантом.

— Хочу, — сказал Пётр, не раздумывая.

Ночью, в номере «Амура», он писал брату. Обо всём: о бурлаках, о пермском звоне, о столбе на Урале, о Петрове, который жал рожь у вдовы, о казачке с колыбельной, о снеге в Барабе, о Кукеле и о комнате с Герценом.

«Ты не поверишь, Саша, — писал он, — здесь начальник штаба держит у себя “Колокол” за весь год и говорит: “Всякое насилие есть мерзость, дайте свободу!” Я буду при нём адъютантом. Это лучше всего, на что я мог надеяться».

Он отложил перо.

«Дайте свободу». Кому — дайте? Кто даст?

Он вспомнил старуху у окна. Она не просила свободы у начальства. Она ставила крынку на полочку, хотя начальство, может быть, этого не любило, — и ставила двести лет. Мужики под Тюменью не ждали, пока им «дадут» устроить ямскую гоньбу: устроили сами. Казаки на Иртыше делили покосы жребием и выкашивали луг старику Черкасову, хотя атамана им присылали из Омска. Извозчики не бросали своего воза. Птицы в Барабе не ждали ничьего разрешения, чтобы сбиться в стаю перед снегом.

А Кукель — добрый, честный, умный Кукель — стоял у полки с Герценом и говорил «дайте». Сверху вниз. Как говорил когда-то в Петербурге и сам Александр II, пока не повернул к реакции: лучше сверху, чем снизу.

Мысль была неясная, неоформленная, почти неприличная по отношению к человеку, который так хорошо его принял. Пётр не стал её додумывать. Он дописал письмо — про Читку, про комитеты, про то, что работы будет много, — запечатал и лёг.

Через пять месяцев Кукеля снимут — за то, что «потворствовал политическим», за Михайлова, за побег Бакунина, который состоялся при нём. Проекты комитетов, над которыми Пётр будет сидеть ночами, лягут в Петербурге под сукно. Через десять лет, в Сонвилье, в Юрских горах, среди часовщиков, у которых не было ни вождей, ни начальства, он скажет себе, что стал анархистом. Он будет потом писать, что в Сибири утратил всякую веру в государственную дисциплину и что именно Сибирь подготовила его к тому, чтобы сделаться анархистом.

Но в ту ночь он спал крепко, как не спал полтора месяца. Где-то за стеной ревела Ангара. В дорожной тетради, на столе, между рисунком мраморного столба и последней записью из Барабы, лежал листок с колыбельной, которую на Иртыше узнала чужая казачка. Европа кончилась у мраморного столба на уральском перевале. А то, что началось потом, — у окна сибирской старухи, на ржаном поле вдовы Агафьи, в казачьем сходе, в снежной Барабе, — ещё не имело для него имени.



## Глава 9. Секретарь всех комитетов

*Чита, Верхнеудинск, Нерчинский округ, Иркутск; октябрь 1862 — июнь 1863*

Байкал они переплыли 29 сентября, на пароходе купца Хамина, за семь с половиной часов.

Накануне отшумела буря, и утром озеро лежало гладкое, как стекло, в розовом тумане. Пётр стоял у борта и не мог оторваться от воды. Она была прозрачна до такой глубины, что казалось, пароход висит в воздухе: внизу, саженях в десяти, видны были камни, и над ними медленно проходили тени рыб. Горы по берегам отражались в воде вместе со снегом на вершинах. Кукель подошёл, постоял рядом и сказал только:

— Вот. Священное море. Сибирики его иначе не зовут.

Потом была Братская степь на триста вёрст, Верхнеудинск при впадении Уды в Селенгу, лиловые цепи гор справа и слева, бесконечный подъём среди кривого, чахлого леса. На склоне за рекой горел лес, и его никто не тушил: дождь пройдёт — сам погаснет.

К Чите подъезжали ночью. Впереди, в темноте, показались редкие огни, и Кукель, поднявшись в повозке, торжественно объявил:

— Вот он, областной город Чита! Направо — хрустальный дворец всемирной выставки.

Направо стоял длинный дощатый сарай — казачий тир. В Лондоне в том году шла Всемирная выставка, и иркутское начальство не решилось послать на неё сибирские товары. Читинские власти устроили свою. Назавтра её открывали.

В областном правлении все спали. Вышел заспанный адъютант, князь Дадешкелиани, грузин с весёлыми глазами, и до рассвета они сидели втроём за самоваром. Говорили о «мерзостях» прежнего губернатора и о том, что из Петербурга прислали жандармского полковника арестовать Шелгунова, который приехал с женой навестить ссыльного поэта Михайлова и поселился поблизости от его прииска. Литератор навестил друга-каторжанина за шесть тысяч вёрст от столицы — и столица перепугалась.

— Чем хуже, тем лучше, — сказал Кукель.

— Им хоть кол на голове теши, — прибавил Дадешкелиани, кивнув куда-то на запад.

Утром Пётр осмотрел город. Несколько улиц, несколько десятков деревянных домов, из них двухэтажных — пять или шесть: губернаторский дом, областное правление, лазарет. Каланча, которую строили двадцать пять лет и так и не достроили. Вокруг — степь и сопки. Десять лет назад здесь не было и этого.

«Далее я всмотрелся в общество, — записал он в дневник, — несколько образованных и хороших людей, Кукель и его славная семья, — и успокоился. Тотчас же решил я, что тут не будет скучно».

Выставку открыли в полдень. Всё читинское общество собралось в тире. Экспонаты — меха, кожи, сукно казачьего тканья, образцы руд, хлеб в мешках, бурятские сёдла, кирпич, медные котлы — осмотрели за полчаса. Пока священник служил молебен, гостей позвали «закусывать». Это слово, заметил Пётр, в Сибири обозначало любую еду, от чая до обеда из шести блюд.

На другой день был обед и бал. Пётр с удивлением увидел, что в Чите почти не замечали сословных перегородок. Купцы, офицеры, чиновники, их жёны сидели вперемешку. На почётном месте сидел с женой, сыном и переводчиком тайша — старейшина бурят — Тугулатур Тобаев, в шёлковом халате и шапке с красной кистью.

Пётр подсел к нему и попытался, как он потом шутил, «взять интервью».

— Нравится ли вам выставка?

Тайша выслушал переводчика и ответил по-русски:

— Хорошо, ладно.

— А что больше всего понравилось?

— Хорошо, ладно. Кто к чему привык, тому то и нравится.

Казачий оркестр урядника Хомяка, сам урядник со скрипкой, сыграл полонез из «Жизни за царя», а потом модную итальянскую песенку «Il Vasio». Пётр спросил тайшу, как ему музыка.

— Хорошо, ладно. Кто к чему привык.

Пётр смеялся потом весь вечер. Но фраза засела в голове. В ней было больше правды, чем во всём «описании экономического положения области», которое Кукель тут же поручил ему составить по выставке.

Комитетов было два: о реформе тюрем и всей системы ссылки и о проекте городского самоуправления. Пётр стал секретарём обоих.

— Мы живём в великую эпоху, — говорил ему Кукель, иногда в два часа ночи, заглядывая в комнату, где горела лампа. — Работайте, милый друг. Помните, что вы секретарь всех существующих и будущих комитетов.

Пётр работал с двойной энергией. Ему было девятнадцать лет. Он перечитал всё, что печатали министерства внутренних дел и юстиции в своих журналах об истории тюрем и городов в России и об их нынешнем устройстве в Западной Европе. Но Кукель не хотел проектов, написанных по книгам. Сначала Пётр ходил по людям — по купцам, мещанам, казакам, крестьянам из пригородных деревень, старым чиновникам, отставным солдатам — и расспрашивал. Потом общие черты проекта обсуждали с Кукелем и полковником Педашенко, умным, практическим человеком из казачьего управления. Потом Пётр писал, и комитет разбирал написанное пункт за пунктом.

Комитет по самоуправлению Кукель составил не так, как предписывал министерский циркуляр. Циркуляр велел губернатору назначить членов. Кукель предложил городу выбрать их самому. Выбирало всё население Читы, и в комитет попал даже один поселенец — бывший каторжный, отбывший срок и приписанный к городу. Звали его Ефим Лукич. Он сидел на краю стола, в чистой рубахе, положив на сукно тяжёлые руки, и первые два заседания молчал.

На третьем речь зашла о каланче.

— Двадцать пять лет её казна строит, — сказал вдруг Ефим Лукич, — а всё не выстроит. Подряды, сметы, ревизии. Из Иркутска бумага, в Иркутск бумага. А дай городу лес да скажи: стройте сами, — к Покрову стояла бы. Миром бы и поставили. Чай, у каждого изба деревянная, всякому гореть неохота.

Купцы засмеялись, чиновник из областного правления поморщился. Педашенко постукал карандашом по столу и сказал:

— А ведь он прав, господа.

Пётр вписал в проект пункт: постройки для общей пользы — пожарные, мостовые, колодцы — город решает и ведёт сам, на свои сборы, без утверждения из губернии, если смета не превышает такой-то суммы. Он долго думал над этой суммой и поставил её побольше.

Много лет спустя он писал, что, если бы самоуправление дали по тому скромному плану, сибирские города имели бы теперь совсем другой вид. Но об этом — потом.

В конце октября, когда в Читу пришли газеты от 8 сентября — о конституции в них не было ни слова, — Пётр полтора часа просидел у Дмитрия Иринарховича Завалишина.

Завалишин был декабрист. Последний, кажется, из оставшихся в Чите: здесь, в остроге, когда-то сидели все они, и здесь же их жёны, приехавшие из Петербурга, строили себе дома. Теперь Завалишину было под шестьдесят. Он жил в своём доме, писал бесконечные корреспонденции в столичные газеты обо всех местных злоупотреблениях, судился со всеми и со всеми ссорился. В Чите его побаивались.

Он говорил быстро и много, о Муравьёве, о Корсакове, об амурском сплаве, о том, как всё делается неправильно. Пётр слушал вполуха и смотрел на старика. Этот человек тридцать семь лет назад был на Сенатской площади. Он был знаком с Рылеевым.

— А какой он был? — спросил Пётр, когда Завалишин на минуту умолк. — Рылеев?

Старик замолчал. Потом сказал, глядя в окно на голую степь:

— Горячий. Всё хотел для народа. А с народом не говорил. Мы все так. Хотели сверху, разом, полком. Думали — выйдем на площадь, и дело сделано.

И опять заговорил о сплаве.

Вечером Пётр перечитывал «Исповедь Наливайки» в материнской тетради — он возил её с собой — и думал: сверху, разом, полком. Наливайко поднимал не полк. За ним шли казаки и мужики, которые сами решили идти.

В ноябре он поехал объезжать тюрьмы и этапы.

Этапные избы стояли по тракту через каждые два-три перехода. Партии ссыльных шли пешком, зимой и летом, в кандалах, с жёнами и детьми на телегах сзади, и на каждом этапе ночевали. Избы были построены при Николае — на сто человек, а партии шли по двести и по триста. Пол сгнил, печи дымили, нары тянулись в два яруса, люди спали под нарами, на полу, в проходе. Вонь стояла такая, что Пётр, войдя, отступил к двери. Смотритель, отставной унтер, развёл руками:

— Что поделаешь, ваше благородие. Ремонт третий год обещают.

Когда партия входила в село, впереди шли двое с кружкой и пели «Милосердную» — старую каторжную песню-просьбу: «Милосердные наши батюшки, не забудьте нас, невольников...» Пётр слышал её потом в каждом забайкальском селе. И в каждом селе бабы выбегали к дороге с хлебом, шаньгами, кусками мяса, с медными деньгами. Никто их не посылал. Он вспомнил полочку под окном у тюменской старухи.

На одном этапе он долго говорил со старостой партии. У арестантов была своя артель. Старосту они выбирали сами, и он вёл общие деньги: подаяние, заработок, что кто нёс с собой. С этих денег покупали еду на всю партию, платили конвою, чтобы не бил и не торопил, давали больным и тем, у кого дети. Кто воровал из артельных — того судили свои же, и суд этот был строже казённого.

— А начальство это знает?

— Как не знать. Без нас, ваше благородие, партия до Нерчинска не дошла бы и наполовину. Начальство-то нам что даст? Кормовые — по три копейки на день.

Пётр записал это в тетрадь. Потом, подумав, вписал и в проект: признать арестантскую артель и выборного старосту законно, отдать им в ведение кормовые и заработок.

Хуже всего было на приисках. Горное ведомство подчинялось прямо Петербургу и держало каторжный труд в своих руках. Сведений оно не давало: сначала тянуло, потом прислало отчёты, такие путаные, что из них нельзя было ничего понять. Реформа грозила его доходам. Пётр поехал сам и увидел: в ноябре, при морозе, каторжные стояли в разрезах по колено, а где и по пояс в ледяной воде, промывали песок, а ночью спали в казармах в мокрой одежде, потому что сушиться было негде.

Доклад тюремного комитета он писал ночами. Ссылка — бесчеловечна и для самой Сибири разорительна: её надо отменить. Одиночное заключение — пытка. Заключённых надо

разделять по разрядам и давать им общий оплачиваемый труд. Тюрьма должна стать исправительным домом, а не могилой.

Кукель прочитал, долго молчал, потом сказал:

— Это правда. Подпишу. Только, голубчик, не обольщайтесь. Петербург прочтёт первую страницу.

Тогда же, в ноябре, Кукель послал его в Верхнеудинский округ — произвести следствие по делу заседателя земского суда Марковича.

О Марковиче ходили слухи по всей области. Он грабил крестьян. Он сёк немилосердно, даже женщин, что было уже прямо против закона. Если ему в руки попадало уголовное дело, он гноил в остроге тех, кто не мог дать ему взятку. Кукель давно бы его прогнал, но Иркутск не соглашался: у Марковича были покровители в Петербурге. Нужны были факты.

Пётр приехал в село, где Маркович бесчинствовал больше всего, и в первый же день понял, что фактов не будет.

Мужики встречали его вежливо, звали в избу, ставили самовар, отвечали на все вопросы — и ничего не говорили. Заседатель? Справедливый человек. Сёк? Кого? Не слышали. Взятки? Как можно. Пётр видел, как они переглядываются. До Бога высоко, до царя далеко, а заседатель — вот он, в соседнем селе. Барин из Читы приехал и уедет, а Маркович останется.

Он не уехал.

Он прожил в селе две недели. Жил в избе у вдовы, ел то же, что ели хозяева, ходил с мужиками в лес за дровами, смотрел, как бьют масло, сидел вечерами на завалинке. Про заседателя больше не спрашивал. Говорил о хлебе, о покосах, о ценах в Верхнеудинске, о том, как в Калужской губернии мужики живут без земли. Петров, который ездил с ним, быстро сошёлся с парнями и рассказывал им, как в Тюменском уезде жал рожь у вдовы.

На десятый день к нему пришёл старик, сивый, сгорбленный, в заплатанном зипуне, сел на лавку и долго молчал.

— Ты, барин, вот что, — сказал он наконец. — Ты нам скажи прямо. Ты его уберёшь или не уберёшь?

— Если вы скажете правду — уберу.

— А как не уберёшь? Нам тогда тут жить.

— Тогда я вернусь сюда сам и буду жить с вами.

Старик посмотрел на него, хмыкнул — то ли поверил, то ли нет — и ушёл.

Вечером в селе была сходка. Петра на неё не позвали, и он сидел в избе вдовы и ждал. Сходка шла долго, до темноты. Потом в избу вошёл тот же старик, а с ним ещё человек десять.

— Порешили, — сказал старик. — Миром скажем. Один скажет — один и пропадёт. А всем миром — пусть попробует всех пересечь.

И стали говорить. Один за другим, до полуночи, — про поборы, про острог, про то, как у одного увели корову за недоимку, которой не было, как другого держали в остроге три месяца за чужую кражу, пока жена не продала лошадь.

Последней пришла женщина. Молодая, высокая, с тёмным лицом, в низко повязанном платке. Её вытолкнули вперёд, она стояла у двери и молчала, глядя в пол. Звали её Анисья.

— Скажи, — сказал старик. — Мир за тебя.

Она подняла глаза на Петра. Потом сказала — тихо, ровно, без слёз, — как её взяли с покоса, как привезли в волость, как заседатель велел разложить её на скамье при всех и как её секли. За что — она так и не узнала. Кажется, за то, что муж не дал заседателю овса.

Пётр записывал, и у него дрожала рука. Он видел Макара в никольской конюшне. Он слышал: «И ты такой же будешь?»

Когда Анисья кончила, он встал и сказал:

— Спасибо вам. Всем.

Никто ему не ответил. Мужики надели шапки и ушли.

Факты, которые он привёз, были подавляющими. Марковичу велели подать в отставку, и он уехал. Пётр гордился этим всю зиму. Это было первое дело, которое он довёл до конца.

Через несколько месяцев пришло известие: тот же Маркович назначен исправником на Камчатку. Там, вдали от всякого надзора, он мог грабить инородцев безо всякого стеснения. Пётр прочитал бумагу два раза и бросил её на стол.

Он думал о сходке, о старике, об Анисье. Они рискнули всем — и мир рискнул вместе с ними. Они сделали своё дело. А государство, получив от них правду, просто переставило негодяя с одного места на другое, где правды некому сказать.

8 декабря он писал брату: время уходит, науки нет, «прежний идеал — серьёзные научные занятия — приходится разбить». Работа комитетов съедала всё.

В декабрьском дневнике он вспоминал Лиду — грустно, длинно, — а через несколько недель записал, что, должно быть, не создан для женщин. Под Новый год его произвели в есаулы и дали Станислава третьей степени. Описание читинской выставки отпечатали в типографии штаба в Иркутске, пятьсот экземпляров, и разослали в Вольное экономическое общество, в Московское общество испытателей природы и в Географическое общество. Из Петербурга пришла благодарность за подписью адмирала Литке. Так Географическое общество впервые узнало имя есаула Амурского казачьего войска Кропоткина. Он тогда не придал этому никакого значения.

Зима стояла жестокая. В январе морозы доходили до сорока.

Однажды вечером из Иркутска прискакал князь Дадешкелиани. Он вошёл к Кукелю, не сняв шубы, обмёрзший, и сказал при Петре:

— Едет жандармский генерал. По доносу. По делу Михайлова.

Все в Сибири знали, что Михайлов не на каторге. Его официально разрешили держать в тюремном госпитале села Кадаи, близ Нерчинского завода, а Кукель, видя, что поэт угасает от чахотки, позволил ему жить у брата, горного инженера, который арендовал у казны золотой прииск. Если генерал найдёт Михайлова не в госпитале, а в доме брата, за столом, с книгой, — погибнет и Михайлов, и Кукель.

Собрались на совет — Кукель, Педашенко, Шанявский, Дадешкелиани и Пётр. Совет был коротким.

— Кропоткин, — сказал Кукель, — вы поедете сейчас. Сегодня ночью. Скажете Михаилу Ларионовичу, чтобы немедленно перебирался в Кадаю. А генерала мы задержим здесь.

— Как?

Кукель улыбнулся — впервые за вечер.

— Генерал, говорят, большой охотник до зелёного сукна. Мы будем очень гостеприимны. И очень несчастливы в картах.

Пётр выехал в полночь. Тройка, кошева, тулуп поверх шинели, Петров рядом, закутанный до глаз. Мороз был такой, что дыхание падало на воротник инеем и через полчаса воротник стоял колом. Лошадей меняли на станциях, не давая им остыть, ямщикам Пётр платил вдвое, и ямщики гнали.

На одной станции не оказалось свежих лошадей. Смотритель развёл руками: все в разгоне. Пётр стоял на крыльце в отчаянии. Тогда ямщик, который привёз его, молодой забайкальский казак, сказал:

— Погоди, барин. Сейчас.

Он ушёл в село и через полчаса вернулся с двумя мужиками. Мужики вели своих лошадей.

— Сколько? — спросил Пётр.

— Казённые прогоны, — сказал один. — А чего больше? Дело, видать, спешное. Мы понимаем.

Что они понимали, Пётр так и не узнал. Может быть, просто то, что из Читы ночью в такой мороз зря не скачут.

Он ехал больше суток. В Чите в это время, в губернаторском доме, на зелёном сукне генерал выигрывал. Выигрывал у Кукеля, у Педашенко, у Шанявского, у Дадешкелиани, у двух купцов, приглашённых для полноты. Карта ему шла сказочная. Он выигрывал так, как не выигрывал никогда в жизни, — и каждое утро откладывал отъезд на завтра. Потом Педашенко рассказывал, что за эти дни они проиграли едва ли не годовое жалованье на всех и что Кукель, сдавая, каждый раз смотрел на часы.

Михайлов жил в просторном доме при прииске, в комнате с окном на белую сопку. Он сидел в кресле у печки, укрытый пледом, худой, с запавшими щеками и лихорадочным румянцем, и встретил Петра так, будто ждал.

— Из Читы? От Кукеля? — спросил он, выслушав. — Значит, едут. Ну что ж. Брат, вели закладывать.

Пока закладывали, они сидели вдвоём. Михайлов кашлял в платок, долго, и прятал платок в карман. Пётр старался не смотреть.

Это был тот самый Михайлов, который перевёл Гейне. В июле, в Никольском, Пётр переписывал в дневник «К Лазарю» — в его переводе. Тот самый Михайлов, который написал прокламацию «К молодому поколению» и получил за неё каторгу. Пётр сказал ему про Гейне. Михайлов улыбнулся.

— Переписывали? В калужском имении? Вот она, судьба переводчика. Ну, а сами вы что читаете?

Пётр стал рассказывать — о комитетах, о проекте, о Марковиче, о Камчатке. Михайлов слушал, глядя на огонь.

— А вы думаете, проект пройдёт?

— Кукель думает, что Петербург прочтёт первую страницу.

— Кукель — умный человек, — сказал Михайлов. — И очень хороший. Таких, как он, — один на всю Сибирь. А вы знаете, что с ним будет? Его уберут. Из-за меня, из-за Бакунина, из-за чего угодно. И пришлют другого. И проект ваш ляжет под сукно. Не потому, что он плох. А потому, что так устроена машина. Она не для того, чтобы делать добро. Она для того, чтобы держать.

Он закашлялся и долго не мог отдышаться.

— Вы читали Прудона? — спросил он, вытирая губы.

— Нет.

— Прочтите. «Систему экономических противоречий». Он пишет плохо, запутанно, ругается со всеми. Но он первый спросил: а зачем она вообще, эта машина? Кто сказал, что люди не могут договориться сами — без начальства?

Вошёл брат: сани готовы. Михайлов поднялся, опираясь на кресло, медленно надел шубу.

— Ну, поеду болеть по закону, — сказал он. — Спасибо вам. И Кукелю. И тем, кто там сейчас в карты проигрывает.

Пётр больше никогда его не видел. Михайлов умер в Кадае два с половиной года спустя, в августе 1865-го. Потом, уже после его смерти, Пётр купит его экземпляр Прудона, весь в пометках карандашом на полях, и будет читать его в Иркутске вместе с Сашей.

Когда он вернулся в Читу, генерала там уже не было.

Генерал рассудил, что ехать за пятьсот вёрст в горный округ, в лютый мороз, когда здесь, в тёплом доме, ему так везёт, нет никакого смысла. Он написал рапорт, что всё в порядке, и уехал в Иркутск очень довольный своей выгодной командировкой.

Вечером Кукель, усталый и весёлый, сел за рояль и спел «Сомнение» Глинки. Потом встал и сказал:

— Ну вот. Одного спасли. На время.

Пётр думал о двух мужиках на станции, которые привели своих лошадей. Он сказал об этом Кукелю. Кукель кивнул.

— Да. Здесь так. Вся Сибирь на этом стоит.

В январе 1863 года Польша восстала.

Известия доходили до Читы с опозданием на месяц, отрывочные, противоречивые. Повстанцы в лесах. Резня сонных солдат в ночь на 10 января. Казачьи расправы. Англия и Франция грозят войной. Деньги для повстанцев собирали по всей России, а в Сибири — даже открыто. В Чите было много ссыльных поляков: они строили баржи для амурского сплава, около ста пятидесяти в год, и Пётр видел, как они собираются по вечерам кучками и о чём-то тихо и горячо говорят.

Он сочувствовал полякам всем сердцем. Он слишком хорошо знал, как это — когда страной правят штыками.

И всё-таки что-то мешало.

Говорили, что революционный комитет требует восстановления Польши в старых границах, с Украиной. Пётр вспоминал материнскую тетрадь. Наливайко, которого поляки сожгли в медном быке. Гетман Сулима, его предок, замученный в Варшаве. Бабушка, рассказывавшая, как Сечь поднималась против панов. Украина, которая триста лет поднималась против польской шляхты. Теперь её снова отдают панам, на этот раз — под знаменем свободы?

Он долго говорил об этом с одним из ссыльных, старым шляхтичем, сидевшим ещё с 1831 года. Старик был умен и честен.

— Вы правы, пан, — сказал он неожиданно. — Наша беда, что мы думаем о Польше, а не о хлопах. Если б Жонд в первый же день объявил: земля — тем, кто пашет, — за нами пошли бы все. А мы говорим: сначала свобода, потом земля. Хлоп не верит. И правильно не верит.

Много лет спустя Пётр напишет, что революция должна с самого начала быть актом справедливости к «униженным и оскорблённым», а не обещанием поправить зло когда-нибудь потом. Иначе она обречена. Этот вывод начался в Чите, в разговоре со старым поляком, и в воспоминании о прадедах-запорожцах.

7 февраля с почтой пришёл пакет на имя губернатора.

Кукель вскрыл его при Петре, прочитал и протянул ему. Бумага предписывала генералу Кукелю немедленно оставить пост губернатора Забайкальской области, вернуться в Иркутск и там дожидаться дальнейших распоряжений, «не принимая должности начальника штаба».

Почему? Что это значит? В бумаге не было ни слова. Даже генерал-губернатор Корсаков, личный друг Кукеля, не решился приписать ни строчки. Значило ли это, что Кукеля повезут с двумя жандармами в Петербург и замуруют в Петропавловской крепости? Всё было возможно. Потом стало известно, что так и предполагалось и что спасло его только заступничество графа Муравьёва-Амурского, который лично умолял царя. Вин было названо несколько: потворство политическим ссыльным, Михайлов, побег Бакунина, а в Петербурге Пётр потом услышит ещё и о перехваченном польском письме, в котором Кукеля просили помочь восстанию.

— Я счёл бы себя счастливым, — сказал Кукель вечером, прощаясь с сослуживцами, — если бы дело кончилось предложением выйти в отставку. Но в политических делах закона нет.

Проводы были похожи на похороны. Собралась вся Чита: офицеры, чиновники, купцы, даже Ефим Лукич из комитета, даже тайша Тобаев, приехавший из степи. Жена Кукеля плакала. Дети не понимали, что происходит. Пётр стоял у саней и не мог говорить. Он терял не только друга. Он понимал, что хоронит целую эпоху — эпоху, полную надежд и, как потом стали говорить, «иллюзий».

Сани тронулись. Пётр смотрел им вслед, пока они не скрылись за сопкой.

На следующий день, 8 февраля, он писал Саше:

«По доносу всё делается. Вот каковы дела. Ещё и ещё сотое подтверждение “либеральности реформ”. И после этого возможны ли “мирные реформы”?» Сами слова эти стали ему противны. «На подрыв капитала надо употребить силы, а не на поддержку, хотя бы самую косвенную».

Он перечитал письмо, хотел вычеркнуть последнюю фразу — письма вскрывали — и не вычеркнул.

18 февраля Саша написал из Москвы. Письмо пришло через месяц. Хорошо, что ты в Сибири, писал брат. На Польшу послали гвардию. Если бы ты остался в Петербурге, в своём полку, — ты не поднял бы руку на поляков. Бежать за границу почти невозможно. Тебе осталось бы «либо самому убить себя, либо попросить, чтобы тебя расстреляли».

Пётр долго сидел над этим письмом.

Он ответил, что, при всём сочувствии, сам не поехал бы сражаться за поляков. И тут же, не замечая этого, исписал целую страницу тем, как восставшему народу надо воевать: не лезть под картечь, даже если у тебя одни косы, а рвать мосты, стрелять из-за каждого куста и уходить в леса. Так дрались запорожцы. Так, наверное, дрались и повстанцы в польских лесах. А под конец написал, что самое честное, самое нужное сейчас — учить и воспитывать народ.

Перечитав, он сам удивился, как всё это уживается на одной странице. Но вычёркивать опять не стал.

В марте он писал, что хочет ехать в Сербию, к повстанцам. О Кукеле — что тот заложил полсотни школ в области и что теперь кругом «доносомания».

Прибыл новый губернатор — добродушный, беззаботный человек. Он принял Петра ласково, выслушал доклад и сказал:

— Что ж, работайте, работайте.

Пётр видел, что терять время нельзя, и закончил оба проекта с удвоенной энергией, днём и ночью. На заседаниях комитетов теперь не набиралось кворума: люди приходили нехотя, у многих опустились руки. Одно заседание отменили, другое. Ефим Лукич ходил на все.

Губернатор оспаривал доклады, делал возражения, но в конце концов подписал оба проекта, и их отправили в Петербург.

Там они и лежат по сей день, вместе с сотнями других таких же записок со всех концов России. В Петербурге больше не хотели реформ. Через двадцать с лишним лет, в 1886 году, американец Кеннан проедет по Сибири и найдёт всю систему ссылки ровно такой, какой Пётр её оставил: те же этапы, те же прииски, та же вода по пояс. Когда он приедет в Лондон, они встретятся, и Пётр будет расспрашивать его о людях, которых знал.

Весной в Чите играли любительские спектакли — Островского. Пётр получал обычно роли молодых купчиков, разбитных и глуповатых, и играл их так, что зал хохотал. Он писал Саше, что, пожалуй, станет актёром. Саша возражал: актёр только повторяет чужие слова. «Разве актёр не так же точно творит, как сам писатель?» — отвечал Пётр.

Он и сам не знал, шутит или нет. После проводов Кукеля работать в комитетах стало незачем, а на сцене хотя бы было видно, что делаешь.

В начале мая он поехал в Иркутск с донесением о подготовке сплава — и чтобы повидать Кукеля, пока его не увезли в Петербург.

Ехали вдвоём с ревизором акцизного управления Паулем, через Верхнеудинск на Кяхту и дальше «кругоморским» трактом, вокруг южного конца Байкала. Байкал ещё стоял подо льдом, а Хамар-Дабан, через который шёл тракт, был завален снегом.

Двенадцать вёрст перевала заняли у них семнадцать часов — с трёх утра до восьми вечера. Лошади проваливались в рыхлый снег по брюхо и вместе с всадниками уходили в ледяные потоки, бежавшие под снегом. Двух лошадей пришлось бросить. К полудню Пётр перестал чувствовать ноги. Пауль, грузный и немолодой, шёл пешком, держась за хвост лошади, и молча плакал от усталости.

Вывел их бурят-почтарь, ехавший с сумкой казённой почты в ту же сторону. Он нагнал их на перевале, посмотрел на брошенных лошадей, на Пауля, ничего не сказал, слез с коня и пошёл впереди, протапывая дорогу и выбирая, где снег держит. Шёл так до самого спуска, до темноты. Когда внизу показались огни станции, он сел на своего коня, кивнул и ускакал вперёд. Пётр даже не успел узнать, как его зовут.

На станции, отогреваясь у печки, Пётр думал, что за полгода видел два государства. Одно — то, которое пишет бумаги, ставит Марковичей на Камчатку, присылает генералов по доносу и убирает Кукелей. Другое — то, в котором мужики приводят своих лошадей, арестанты выбирают старосту, бабы выносят хлеб к партии, мир решает «сказать всем миром», а бурят-почтарь идёт впереди по снегу, протапывая дорогу чужим людям. Первое называлось государством. У второго не было названия. Но жили люди — им.

С Кукелем они простились в Иркутске, в пустом казённом доме, где уже были уложены сундуки.

Кукель был спокоен. Он рассказал, что Муравьёв за него заступился и что, кажется, крепости не будет.

— А проекты? — спросил Пётр.

— Проекты, голубчик, лягут под сукно. Я же вам говорил. — Кукель помолчал. — Знаете, я ведь всю жизнь думал: дайте мне власть, и я сделаю добро. Мне дали. Я сделал что мог. И вот. — Он развёл руками. — Видно, дело не в том, кто сидит наверху.

Пётр не ответил. Он вспомнил, как полгода назад, в комнате с Герценом, спросил: «Вы думаете, дадут?»

Они обнялись. Больше в Сибири они не встретятся.

В июне Петра назначили помощником начальника всего амурского сплава, майора Малиновского. С реформами в Чите было покончено, и он принял назначение с удовольствием. Сплав был делом, а не бумагой: полторы сотни барж с солью, мукой, солониной для голодающих станиц на нижнем Амуре. Тут, по крайней мере, будет видно, доплыли баржи или нет.

В середине июня он выехал из Читы. Петров сидел рядом, на козлах. За спиной оставался город, где он прожил восемь месяцев: недостроенная каланча, казачий тир — «хрустальный дворец», губернаторский дом с роялем, в котором теперь жил другой человек.

В дорожной тетради, между страницами, лежал листок с колыбельной. Рядом с ним Пётр положил другой — список имён, который составил в селе под Верхнеудинском в ту ночь, когда мир порешил «сказать всем миром». Против последней строчки стояло: «Анисья».

Впереди была Шилка, Амур — и сорок четыре баржи, которые утонут.



## Глава 10. Сорок барж

*Шилка, Амур, Благовещенск, Хабаровка, Аргунь, Кара, Иркутск; июнь — октябрь 1863*

Утром 17 июня тарантас проехал селение Бликин, и Пётр велел ямщику остановиться.

Долина здесь была странная. Склоны её спускались к реке не откосом, как везде, а почти отвесно, будто их срезали гигантским ножом, а дно было широкое и плоское. Долина походила на корыто. Он долго стоял на обочине, глядя на эти стены. Ни одна речка, даже самая быстрая, не могла бы прорыть такое. Её прорыла бы разве что сила, которая шла не по дну, а заполняла долину целиком, от края до края, и медленно ползла вниз, обдирая склоны.

Лёд, подумал он. И сам удивился этой мысли.

Он записал её в тетрадь и тут же забыл. Через десять лет, в Финляндии, над отполированными валунами и «бараньими лбами», она вернётся — и станет главной мыслью его научной жизни.

За Бликином пошли места, похожие на южнорусские степи: холмы, клочки пашен, а на той стороне реки — горы, одетые лесом снизу доверху. Под вечер показался Сретенск.

«Городок гораздо красивее Читы, — записал он. — Хоть бы одни горы напротив, да красавица Шилка...»

В Сретенской гавани строили баржи и грузили их для сплава. Отсюда каждую весну уходила флотилия: полторы сотни неуклюжих плоскодонных судов с мукой, солью, солониной — в низовья Амура, в казачьи станицы и деревни переселенцев, которые сами себя прокормить не могли.

Почему не могли, ему объяснил старый сретенский казак, сидевший на брёвнах у воды.

— Муравьёв, Николай Николаевич, — говорил старик, — тот всё разом хотел. Чтоб Амур был наш — и чтоб на нём люди жили. Нагнали сюда наших, забайкальских, станицами. Нагнали каторжных, которые отбыли. Нагнали солдат штрафных, из батальонов, — по казачьим семьям раздали, сынками. А сынок, он двадцать лет под палкой в казарме был, какой из него пахарь? Сбежал от «отца» — и пошёл бродить.

Он рассказал, как Муравьёв, отправляя плоты с поселенцами, увидел, что многие из них холостые. «Мужик без бабы — ничего, — сказали ему, — жениться нам нужно». Генерал-губернатор велел освободить каторжанок и предложить им выбрать мужей. Полая вода спадала, ждть было нельзя. Тогда Муравьёв поставил поселенцев на берегу парами, благословил и сказал: «Венчаю вас, детушки. Будьте ласковы друг с другом, мужья, не обижайте жён и живите счастливо».

— И что ж? — спросил Пётр.

— А ничего, — сказал старик. — Живут. Не хуже прочих. Епископ Иннокентий потом браки признал и в книги записал.

Первое его дело в сплаве вышло совсем неудачным.

Ему поручили провести несколько барж из Сретенска к пункту на верхнем Амуре и там сдать. Команду дали из «сынков». Никто из них ничего не понимал в речном плавании. Немного больше понимал и он сам.

В день отправки, в пять часов утра, когда надо было сниматься, команды на баржах не оказалось. Пётр пошёл с Петровым по кабакам. «Сынков» находили по одному, по двое, кого на лавке, кого под лавкой. Некоторые были так пьяны, что не держались на ногах. Их выводили

на берег и, раскачав за руки и за ноги, окунали в Шилку, раз, другой, третий, пока не начинали ругаться осмысленно. Петров смотрел на это с ужасом.

— Пётр Алексеевич, да на них же грузу на двадцать тысяч.

— А других нет, Петров.

Днём дело шло неплохо. Баржи, сносимые быстрым течением, плыли посередине реки, и посадить их на берег было не так просто: для этого понадобилось бы особое усилие. «Сынки» сидели у огромных кормовых вёсел, Пётр учил их, как умел, и к полудню они уже поворачивали весло без окрика.

Но когда стемнело и пора было приставать на ночь, оказалось, что одна баржа ушла далеко вперёд. Остановилась она только тогда, когда со всего хода наткнулась на камень у подножья страшно высокого, отвесного утёса. Там она засела накрепко. Вода в реке, поднятая дождями, быстро падала. Десять «сынков» на барже ничего не могли сделать.

Пётр сел в лодку и поплыл в ближайшую станицу звать казаков, а к приятелю, казачьему офицеру в Сretenске, старому опытному сплавщику, отправил гонца с запиской.

На рассвете к утёсу пришло около сотни казаков и казачек. Пришли все, кто был в станице, — с баграми, верёвками, топорами, бабы с детьми на руках. Никто их не наряжал, никто не обещал платы: сказали, что казённая баржа с мукой села под Чёртовым утёсом, и станица вышла. Под утёсом было так глубоко, что связать баржу с берегом и разгрузить её было невозможно. Когда же попробовали сдвинуть её с камня, в днище открылась пробоина, и туда хлынула вода, размывая муку и соль.

Пётр стоял на палубе и видел сквозь щели в настиле, как внизу, в трюме, между мешками, плавает множество мелкой рыбёшки, попавшей в баржу через пробоину. Он смотрел на неё и не знал, что делать. Казаки кричали каждый своё, казачки причитали над мукой.

Есть очень простое средство в таких случаях: заткнуть пробоину кулём муки. Мука быстро всасывается в отверстие, снаружи образуется корка теста, и вода дальше не проходит. Но никто из них этого не знал. Или знали, да в суматохе не вспомнили.

Через несколько минут кто-то закричал с берега:

— Баржа! Сверху баржа!

Вверх по реке, из лёгкого голубого тумана, висевшего в этот ранний час над Шилкой, выплывала неуклюжая, пустая баржа. Вряд ли Эльза при виде Лоэнгрина, плывущего на лебеде, обрадовалась больше, чем они. Это был его приятель-сплавщик. Из записки он понял, что баржу никакими силами не снять, что она погибла, и сразу приплыл на пустой барже, чтобы спасти груз.

Пробоину заткнули кулём муки. Воду вычерпали, казаки и казачки цепью перенесли мешки на новое судно, и наутро Пётр мог плыть дальше.

Когда он пытался заплатить станичникам, старший из казаков отмахнулся:

— Да что ты, ваше благородие. Мука-то куда идёт? На Амур, нашим же. Сегодня мы вам, а там, гляди, и вы нам.

В дневнике осталась запись, без числа: «Не знаю дня, ни числа. Ну, первый блин комом».

Дальше плыли без приключений.

По вечерам находили полосу низкого берега и приставали. На берегу быстрой и чистой реки загорались костры, за ними чернели горы. «Сынки» варили кашу, пели. Трудно было представить себе плавание приятнее, чем днём на барже, которую несёт течение. Ни шума, ни грохота, как на пароходе. Раз-другой повернёшь громадное кормовое весло, чтобы держать баржу посередине, — и опять тишина. Широкая, быстрая, прозрачная река шла между горами, поросшими лесом, а горы спускались к воде скалами в две тысячи футов.

Но по этим скалам не было пути. Последние семь перегонов по Шилке, около ста восьмидесяти вёрст, в Восточной Сибири звали «семью смертными грехами». Пётр ещё испытает это осенью.

Баржи он сдал. Начальство приняло их, пересчитало и расписалось.

Дальше надо было догонять начальника сплава Малиновского, ушедшего вперёд, — полторы тысячи вёрст вниз по Амуру в почтовой лодке.

Петров с вещами и бумагами остался в Сретенске: в лодке для него не было места. Он долго стоял на берегу, глядя вслед, и Пётр видел, как он крестит лодку издали.

Лодка была большая, середина её покрыта навесом, как кибитка, а на носу стоял ящик, набитый землёй: на нём разводили огонь и варили чай. Командовал лодкой почтарь, молчаливый пожилой урядник. Гребцов было трое, все из «сынков». Прогнанные в своё время сквозь строй, они бродили из города в город и, как выразился урядник, «не всегда признавали права собственности». А на Петре была тяжёлая сумка с порядочным количеством серебра, бумажек и меди — казённые деньги на сплав.

В Западной Европе такое путешествие по пустынной реке сочли бы безумием. У него не было с собой даже старого пистолета.

Гребли посменно весь день. Ночью лодку пускали по течению, держа посередине реки, и Пётр сам часа по четыре сидел на корме, чтобы удерживать её в фарватере и не угодить в протоку. В первую ночь он не спал совсем: сидел у руля, чувствуя на боку тяжесть сумки, и прислушивался к дыханию гребцов под навесом. На вторую ночь задремал на корме — и проснулся от того, что лодку несёт к берегу. Один из «сынков», рябой и сутулый, по прозвищу Ерёма, уже сидел рядом, выправляя руль.

— Спи, барин, — сказал он. — Подержу.

Сумка лежала у Петра на коленях, нетронутая.

Через неделю он сидел у руля уже без всякой тревоги. Эти ночные дежурства были полны невыразимой прелести. На небе стоял полный месяц, чёрные горы отражались в заснувшей прозрачной реке, и тишину нарушал только всплеск рыбы да далёкий крик ночной птицы.

В безлунные ночи было хуже. Тогда не видно было ни берегов, ни селений, и где пристать на ночлег, приходилось угадывать. В первую такую ночь урядник долго вглядывался в темноту, потом повернулся к Петру и серьёзно сказал:

— Пётр Алексеевич, будь так добр, полай немножко.

Пётр засмеялся — и залаял. Так, как научился три года назад в тёмном карцере Пажеского корпуса: басом, как большой цепной пёс, потом тонко, как собачонка из подворотни. Звонкий лай понёсся над чёрной водой. Гребцы перестали грести. Через минуту с невидимого берега, откуда-то слева, отозвалась одна собака, потом другая, потом целая деревня.

— Вона где, — сказал урядник и повернул лодку на звук.

С тех пор лаять приходилось каждую тёмную ночь. «Сынки» прозвали его «наш барбос» и гордились им перед гребцами встречных лодок. Пётр думал, что Жирардот и фон Бреверн, сажавшие его в карцер, никак не рассчитывали, что их наказание пригодится казённому сплаву на Амуре.

На стоянках, в станицах и деревнях, он ходил по дворам и разговаривал с переселенцами.

Жили они плохо. Казённого пайка хватало дней на двадцать, а дальше жили кто чем. Земля здесь, особенно ниже по реке, была вся под лесом, и каждую десятину приходилось отвоёвывать у тайги. Лошадей не хватало, плугов не было. Пётр видел, как мужик пашет лопатой между пнями, а баба идёт следом и разбивает комья мотыгой.

— Хлебушки уж, видно, не дожидаться своего, — сказал ему один, разгибая спину. — Покуда раскорчуеться — помрёт. А там дожди с моря придут, всё зальёт. А что не зальёт — птица склюёт. Птица тут тучей ходит, осенью небо застит.

Он не жаловался. Он просто сказал, как есть.

И всё-таки, приглядевшись, Пётр видел и другое. Корчевали не каждый свою полосу, а артелью, по три-четыре двора: так выходило быстрее, а одному лес было не взять. Лошадь, если она была одна на пять дворов, ходила по очереди. Когда у кого-нибудь сгорала изба, ставили новую всей деревней за два дня. Те, кто выжил, выжили потому, что держались вместе. Те, кто пробовал в одиночку, — он видел их брошенные избы с провалившимися крышами — ушли или умерли.

Он записывал всё это в тетрадь. Цифры — сколько пайка, сколько десятин раскорчёвано, сколько скота — для начальства. Остальное — для себя.

Подъезжая к Благовещенску, «сынки» затосковали.

— Ханшин тут уж очень дешёвый, — скорбели они. Ханшином звали китайскую водку, которую с того берега возили бочками. — Крепкий. Как выпьешь — сразу с ног сшибает, с непривычки.

Пётр предложил оставить причитающиеся им деньги у знакомого, чтобы тот выдал их, когда посадит «сынков» на обратный пароход.

— Не поможет, — мрачно сказал Ерёма. — Всё одно кто-нибудь да поднесёт чашку. Дешёвая, подлая. А как выпьешь — так и сшибает.

Они не ошиблись. Через несколько месяцев, возвращаясь через Благовещенск, Пётр узнает, что один из его «сынков» — как раз Ерёма — пропил последние сапоги, украл что-то и попал в тюрьму. Знакомый в конце концов добьётся его освобождения и посадит на пароход. Пётр будет думать, что этот человек, укравший сапоги в Благовещенске, на Амуре держал руль, пока он спал, и не тронул сумки с казённым серебром, которую можно было взять одним движением. И что никакой закон не объяснит, почему так.

В Благовещенске он догнал Малиновского.

Майор Антон Малиновский, начальник всего сплава, был человек немолодой, нервный и добросовестный. Вдвоём они пошли дальше, по нижнему Амуру, в большой крытой лодке, которую майор оснастил парусами так, что она могла идти в бейдевинд.

После слияния с Сунгари Амур становился рекой, какую может представить себе только тот, кто видел Миссисипи или Янцзы. В июле с моря приходили муссонные ливни, вода в Сунгари, Усури и Амуре страшно поднималась, заливала и смывала тысячи островов, поросших тальником. Местами река разливалась на три, а то и на семь вёрст и уходила в цепи озёр по сторонам главного русла. Свежий восточный ветер разводил на этой воде волнение, как на море.

А верстах в четырёхстах ниже Хабаровки с Китайского моря налетел тайфун.

Они успели добраться до заветерья и укрыться в протоке. Там простояли двое суток, пока ревела буря. Пётр отважился выйти в тайгу на несколько сот шагов и вернулся: ветер валил кругом него деревья, огромные ели ложились одна на другую с треском, как пушечные выстрелы.

Оба думали об одном — о баржах. Если они отчалили утром, укрыться им было негде. Ветер должен был пригнать их к тому берегу, где волны били сильнее всего, к крутым откосам, о которые неуклюжие плоскодонки разлетались в щепки.

Как только буря стала стихать, тронулись. По расчёту, они скоро должны были обогнать два отряда барж. Прошёл день, прошёл второй — барж не было и следа. У одного крутого берега виднелись какие-то брёвна. Ни складов, ни людей.

Малиновский перестал спать и есть. Он сидел с утра до вечера неподвижно на палубе, глядя на воду, и шептал:

— Всё пропало. Всё пропало.

В этой части Амура поселения были редки, и спросить было некого. Началась новая буря. Вечером они добрались до деревни, и им сказали, что баржи не проходили, а накануне по реке плыло много обломков.

Сомнений не было. Погибло не меньше сорока барж, сто двадцать тысяч пудов груза. Это значило голод в низовьях Амура будущей весной, если запасы не подспеют вовремя. А близилась осень, навигация скоро должна была прекратиться, и телеграфа вдоль реки ещё не было.

Устроили совет — вдвоём, в избе, при сальной свече. Малиновский немного пришёл в себя.

Решили так: Малиновский пойдёт как можно скорее вниз, к устью Амура, в Николаевск. Может быть, до конца навигации удастся закупить хлеб в Японии. Пётр поспешит вверх по реке, определит потери, а потом будет как угодно торопиться в Читу — в лодке, верхом, на пароходе, если попадётся. Чем раньше предупредят читинские власти и вышлют вниз провиант, тем лучше. Может быть, запасы успеют дойти осенью до верховьев Амура, а оттуда их сплавят в низовья по первой воде. Даже несколько недель, даже несколько дней будут значить много.

Обратный путь был три тысячи вёрст.

Пётр начал его в маленькой лодке, меняя гребцов в каждой деревне, то есть приблизительно через каждые тридцать вёрст. Так было медленно, но пароход с низовьев мог прийти не раньше чем через две недели, а за это время он успел бы добраться до места крушения и посмотреть, спасено ли хоть что-нибудь.

Гребцов давали деревни. Не начальство — у начальства здесь не было ни людей, ни лодок, — а сами деревни.

Он приставал к берегу, шёл к старосте и говорил, что везёт казённую весть о погибших баржах и что ему нужно до следующей деревни. Староста шёл по дворам, или созывал сход, или просто кричал с крыльца. Через полчаса у лодки стояли двое мужиков и парнишка. Кому ехать, в деревне решали сами, по очереди. Пётр расспросил однажды и узнал, что у них была своя очередь, «гоньба», как на тракте: в этот раз ехали Кузьмины, в следующий — Шароновы. Платы почти не брали: казённые прогоны были нищенские, а прибавить ему было нечего. Ехали потому, что знали, зачем.

— Слыхали про баржи, — сказал ему один. — Мука, значит, наша потонула. Весной в низу голодать будут. Ну, давай, барин, садись, повезём. Чего там.

Лодки были жалкие — плоскодонки, долблёнки, утлые посудины, которые в тихую погоду и то черпали бортом. А бури начались снова.

Держались, конечно, у самого берега. Но несколько раз приходилось пересекать широкие протоки Амура, и там волны, гонимые ветром, грозили залить лодку.

Однажды пришлось пересечь устье протоки почти в версту шириной.

Пётр стоял на берегу и смотрел. Короткие, крутые волны поднимались буграми, гребни их срывались белой пеной, ветер гнал брызги в лицо. Деревня, из которой он только что выехал, осталась позади. Следующая была на том берегу. Обходить протоку — день, а то и два.

Он ничего не сказал. Он не имел права понуждать людей — и не стал. Гребцы, двое крестьян, стояли рядом и смотрели на воду. Третьим был мальчик, лет пятнадцати, сын одного из них, белобрысый, курносый, в рубаше, подпоясанной верёвкой, — Гаврюшка. Он должен был сидеть на корме.

Крестьяне посмотрели друг на друга. Потом на мальчика. Мальчик пожал плечами.

— Ну, — сказал старший, — семи смертей не бывать, а одной не миновать.

Перекрестились и взялись за вёсла.

Через сто сажений Пётр понял, что их лодка не предназначена для такой воды.

Двое крестьян на вёслах были бледны как полотно. Они смотрели на гребни волн, вырастающие впереди, и их посиневшие губы шептали молитву. Но грести они не переставали.

А мальчик на корме не потерялся.

Он сидел, слегка наклонившись вперёд, держа весло обеими руками, и смотрел на воду так, как смотрят на противника. Когда волна опускалась, он скользил лодкой между гребнями. Когда она грозно поднималась впереди, он лёгким движением весла направлял лодку носом прямо на гребень — и лодка взлетала, на мгновение повисала в воздухе и падала вниз, в провал. Он не кричал, не командовал. Он просто правил.

Лодку постоянно заливало. Пётр отливал воду старым деревянным ковшом, наклонившись к самому дну, и скоро убедился, что вода набирается скорее, чем он успевает вычерпывать. Он черпал изо всех сил. Руки онемели, брызги заливали глаза.

На середине протоки в лодку хлестнули один за другим два таких вала, что вода поднялась до колен. Старший гребец, не переставая грести, мотнул головой на Петра — на тяжёлую сумку с серебром и медью, висевшую у него через плечо.

Пётр понял. Если лодка опрокинется, сумка утянет его на дно, как камень. Он отстегнул её одной рукой и положил на дно лодки, у ног, и снова взялся за ковш.

Он не помнил потом, сколько это длилось. Минут двадцать, может быть, полчаса. Он помнил только белое лицо гребца перед собой, ковш в руках, рёв воды и мальчика на корме, который, казалось, не дышал.

Потом лодку подхватило тише, и через несколько минут нос её зашуршал по песку на том берегу.

Крестьяне бросили вёсла и сидели, опустив руки, тяжело дыша. Мальчик вытер лицо рукавом и вдруг засмеялся — коротко, по-мальчишески, будто сделал что-то озорное.

— Ну, Гаврюшка, — сказал отец. — Ну, ты.

Больше он ничего не сказал.

Пётр вышел на берег, сел на мокрый песок и долго смотрел на протоку, которую они только что пересекли. Он думал о материнской тетради: о запорожцах, которые на своих чайках проходили днепровские пороги — двенадцать порогов, один страшнее другого. Мать пела об этом песни. Бабушка Сулима говорила, что настоящим казаком считался только тот, кто прошёл пороги. Этот мальчик никогда не слышал ни про Днепр, ни про Сечь. Но он был из того же теста.

И ещё он думал: никто им не приказывал. Он не приказывал — не имел права и не хотел. Никакой урядник, никакой исправник, никакой генерал-губернатор не мог бы приказать двум мужикам и мальчику пересечь версту бешеной воды в долблёнке. Они знали, почему он торопится, — про баржи, про муку, про голод в низовьях, — и сами решили, что можно попробовать. И сделали.

Такие переправы были у них несколько дней подряд. Каждый раз гребцы сами решали, в какую минуту можно. Каждый раз говорили «семи смертей не бывать», крестились и брались за вёсла.

Через несколько дней он добрался до места главного крушения.

Буря разбила сорок четыре баржи. Они лежали вдоль крутого берега на протяжении нескольких вёрст — разбитые, перевёрнутые, полузатопленные, с проломленными бортами. Груз размыло. Разгрузить их во время бури было невозможно, и спасли лишь очень небольшую часть провианта. Около ста тысяч пудов муки погибло в Амуре.

Казаки из ближней станицы были уже здесь. Они вылавливали из воды уцелевшие мешки, вытаскивали их на берег, вспарывали, и казачки рассыпали подмокшую муку на холстах сушиться на ветру. Вся станица работала на берегу. Пётр спросил атамана, кто велел.

— А кто велит? — удивился тот. — Своя же мука. Нам же её есть. Что спасём — то наше.

Пётр записал цифры: сколько барж разбито, сколько пудов погибло, сколько спасено. Цифры были страшные. С этой грустной вестью он тронулся дальше.

Через несколько дней их нагнал пароход, медленно ползший вверх по течению. Пётр причалил к нему.

От пассажиров он узнал, что капитан допился до чертей и прыгнул за борт. Его вытащили, и теперь он лежал в каюте в белой горячке. Пароход шёл как-то сам, без капитана. Пассажиры и команда, увидев офицера с бородой, стали просить его принять команду.

Пётр согласился. Ему было двадцать лет. Он ничего не понимал в пароходах.

К своему великому изумлению, он скоро убедился, что всё идёт так прекрасно само собою, что ему делать почти нечего. Он прохаживался торжественно весь день по капитанскому мостику — и только. Лоцман разбирал карту и вёл судно по фарватеру. Механик следил за машиной. Кочегары топили. Матросы делали то, что знали. Каждый делал своё дело, которое ему было знакомо и понятно, и в результате пароход шёл вперёд.

Были, правда, несколько действительно ответственных минут, когда надо было приставать к берегу за дровами. Да ещё порой два-три одобрительных слова кочегарам, чтобы убедить их трогаться с рассветом, как только выступят из утреннего тумана очертания берегов. Больше ничего.

— Да вы, ваше благородие, не беспокойтесь, — сказал ему как-то лоцман, старый амурский волк. — Мы сами. Капитан-то, он и при здоровье больше в каюте сидел.

Пётр стоял на мостике и смотрел на пароход, на кочегаров, вылезавших на палубу глотнуть воздуха, на матросов у бортов, на лоцмана с картой. Он вспоминал отца. Как отец кричал на дворовых: «Я с тебя шкуру спущу!» Как за всякий недосмотр — записка в часть и сто розог. Всю жизнь он видел, что без барина, без начальника, без палки дело не пойдёт. Барин был нужен, чтобы приказывать, наказывать, грозить. А здесь барином был он сам — и ничего этого не требовалось.

Дисциплина хороша на военных парадах, подумал он. Здесь она не нужна. Здесь нужно, чтобы каждый знал своё дело и понимал, зачем оно.

В Хабаровке он сдал пароход Амурской компании и пересел на другой.

То пароходом, то верхом он добрался до верхнего Амура. Всё время его мучила одна мысль — о голоде, который начнётся весной в низовьях. Заметив, что пароход идёт вверх

по реке очень медленно, он сошёл и поехал верхом, вдвоём с казаком, горной тропой вдоль Аргуни.

Эти триста вёрст через Газимурский хребет были одним из самых диких мест в Сибири. Тропа то поднималась на перевалы, то падала в пади, то шла по самому краю обрыва над рекой. Ехали весь день. Только в полночь останавливались где попало в лесу, разводили костёр и спали до рассвета, завернувшись в бурки. Так он выгадывал всего десять или двенадцать часов. Но и они имели значение: с каждым днём приближался конец навигации. По ночам на реке уже шла шуга — первое осеннее сало, мелкий плывущий лёд.

Казак, спутник его, был немолодой забайкалец, молчаливый, с медным крестиком на гайтане. Однажды ночью, у костра, он спросил:

— А чего ты, ваше благородие, так гонишь? Тебе-то что? Баржи-то казённые.

— В низовьях весной люди голодать будут.

Казак подумал, подбросил в огонь сучьев.

— Это верно, — сказал он. — Голод — он никого не разбирает.

И больше не спрашивал. Наутро сам поднял Петра затемно.

На Каре, на каторжных промыслах, он встретил забайкальского губернатора и своего приятеля полковника Педашенко.

Он рассказал всё — про тайфун, про сорок четыре баржи, про сто тысяч пудов муки на дне Амура. Педашенко слушал, не перебивая, потом встал.

— Сейчас же, — сказал он.

И сейчас же, в тот же день, позаботился о немедленной отправке нового транспорта.

Пётр поспешил с докладом в Иркутск. Там все удивлялись, как это он смог проехать такой длинный путь так быстро. А он совсем выбился из сил и проспал почти неделю — так много, что потом даже стыдно было сказать.

Когда он проснулся окончательно, был уже октябрь. За окном сыпал первый снег.

Он лежал и думал о сплаве. Об этом лете, о реке, о людях.

Начальство потеряло флотилию. Всю, почти целиком. Сорок четыре баржи, сто тысяч пудов. Никто в этом не был виноват — ни Малиновский, ни он, — виноват был тайфун. Но виновата была и вся машина, которая гнала муку на нижний Амур в неуклюжих плоскодонках, потому что так было заведено, потому что так решили в Петербурге, где Амура никто не видел, потому что морем было бы дешевле, но морем — это другое ведомство. Каждую весну полторы сотни барж, каждую осень голод в низовьях, каждый год переселенцы пахут лопатой между пнями.

А люди — люди делали всё сами.

Сотня казаков и казачек под Чёртовым утёсом. Приятель-сплавщик на пустой барже из голубого тумана. Ерёма у руля, пока он спал, и нетронутая сумка с серебром. Мужики, которые корчуют лес артелью. Деревни, которые сами давали гребцов и сами решали, кому ехать. Мальчик Гаврюшка на корме посреди бешеной протоки. Станичники, сушащие на холстах подмокшую муку. Лоцман и кочегары, которые вели пароход без капитана. Молчаливый казак на Газимурской тропе, который поднял его затемно.

Никто из них не ждал приказа. Никто не спрашивал разрешения. Они знали, что нужно, — и делали.

Много лет спустя он напишет, что в Сибири понял разницу между действием на началах дисциплины и на началах взаимного понимания. Что в серьёзных делах командованием и дис-

циплиной немногого достигнешь. Что люди личного почина нужны везде, но раз толчок дан, дело должно идти не по-военному, а мирским порядком, путём общего согласия.

Тогда, в октябре 1863 года, лёжа в иркутской гостинице и глядя на первый снег, он ещё не умел сказать этого словами. Но он уже знал это. Знал руками, которые черпали воду ковшом. Знал спиной, которая затекла на ночной корме. Знал горлом, которое лаяло над чёрной водой, пока с невидимого берега не отзовутся собаки.

Он встал, оделся и пошёл к генерал-губернатору. В дверях его кабинета он ещё не знал, что через полчаса услышит: «Можете ли вы выехать завтра курьером в Петербург?»



## Глава 11. Утонул по воле Божьей

*Иркутск, Сибирский тракт, Томь, Нижний Новгород, Москва, Петербург; октябрь 1863 — февраль 1864*

— Вы хорошо отдохнули? — спросил Корсаков.

Он сидел за большим письменным столом, на котором лежало донесение Петра о гибели сплава, и постукивал карандашом по краю бумаги.

— Благодарю, ваше превосходительство. Неделю спал. Стыдно сказать.

— Ничего, ничего. — Корсаков помолчал. — Можете ли вы выехать завтра курьером в Петербург? Чтобы лично доложить о гибели барж.

Ехать курьером в Петербург значило отмахать за двадцать дней — не больше — четыре тысячи восемьсот вёрст до Нижнего Новгорода, откуда до столицы уже можно было ехать по железной дороге. Отмахать в осеннюю распутицу, когда снег ещё не лёг, а земля уже замёрзла и колеи превратились в каменные гребни. День и ночь на перекладных, в кибитке, потому что никакой рессорный экипаж не выдержал бы такой дороги по мёрзлым выбоинам.

Пётр подумал о дороге. Потом подумал о брате. Саша был в Москве.

— Могу, ваше превосходительство.

— Вот и хорошо. Бумаги будут готовы к вечеру.

Почему послали именно его, Пётр понял только в Петербурге.

Выехал он в следующую же ночь.

Петров остался в Иркутске: курьер ехал один, с ямщиком, без поклажи, только с сумкой бумаг через плечо. Денщик проводил его до станции, долго укладывал в кибитку тулуп и сено, поправлял полость.

— Вы уж там, Пётр Алексеевич, поосторожней. Реки-то, говорят, ещё не стали.

— Не бойся, Петров. Курьеров Бог бережёт.

— Бог-то бережёт, — сказал Петров, — да реки не знают, что вы курьер.

Кибитка тронулась. Пётр лежал на сене, укрытый тулупом, и смотрел в тёмное небо, на котором дрожали крупные осенние звёзды. Впереди было двадцать дней.

Дорога была пыткой с первого дня.

Снега ещё не было. Грязь замёрзла глыбами, колеи стали твёрдыми, как камень, и кибитка прыгала по ним так, что Пётр бился головой о верх. Колёса не выдерживали. Бывали дни, когда колёса ломались на каждой станции. Тогда ямщик, ругаясь, распрягал лошадей, а станционные мужики выкатывали запасное колесо, если оно было, или чинили старое, если запасного не было.

На одной станции, в Барабе, колесо не просто сломалось — рассыпалось, обод отдельно, спицы отдельно. Смотритель развёл руками: запасного нет, кузнец в отъезде. Пётр стоял на крыльце в отчаянии. Был поздний вечер, ветер нёс над степью сухую снежную крупу.

Через четверть часа на станционный двор пришли трое ямщиков, свободных от гоньбы, и старик-тележник с соседнего двора. Никто их не звал. Смотритель только сказал кому-то в сенях: «Курьер с Амура, баржи потонули». Мужики посмотрели на обломки, поскребли в затылках, и старик сказал:

— Ну, давай, ребята. У Митрия во дворе колесо стоит, от его телеги. Снимем, а ему завтра новое сладим.

Сняли колесо с Митриевой телеги, поставили на кибитку. Митрий, хозяин телеги, сам держал фонарь.

— А ты как же? — спросил Пётр.

— А я сосед, — сказал Митрий, будто это всё объясняло. — Завтра сладим. Езжай, ваше благородие. Тебе нужнее.

Пётр опять вспомнил тюменскую старуху и её полочку под окном. Сибирский тракт держался не на казённых станциях и не на зрителях. Он держался на этом: «Тебе нужнее».

До Томи он добрался в конце октября.

Реки только начинали замерзать. Томь встала накануне — прошлой ночью. Лёд был ещё тонкий, прозрачный, под ним видно было, как идёт тёмная вода. По краям у берега он трещал под ногами. Перевозчики сидели в избе у берега и никуда не собирались.

Пётр вошёл, объяснил: курьер, срочные бумаги, надо на тот берег сейчас.

Мужики переглянулись.

— Не, ваше благородие. Лёд вчерашний. Не пустим.

— Мне нельзя ждать.

— Ждать недолго. Дня три — и окрепнет.

— Три дня я ждать не могу.

Мужики молчали. Пётр сел на лавку и стал рассказывать. Про тайфун, про сорок четыре баржи, про сто тысяч пудов муки на дне Амура, про то, что весной в низовьях будут голодать и что каждый день на счету. Мужики слушали, курили, переглядывались. Потом самый старый из них, с белой бородой, сказал:

— Ну, коли так... А расписку дашь?

— Какую расписку?

— А вот напиши нам бумагу. «Я, мол, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что утонул по воле Божьей, а не по вине крестьянской». И дай нам эту расписку.

Пётр сначала не понял. Потом понял — и рассмеялся.

— Отлично, — сказал он. — На другом берегу!

Все повеселели.

Мужики сразу заговорили наперебой, как переправлять. Решили так: впереди пойдёт молодой парень, пробуя лёд пешней. Пётр выбрал его сам — за смелый и смыслённый взгляд. Звали парня Илюхой, было ему лет восемнадцать. Вторым пойдёт курьер с сумкой бумаг через плечо. Обоих будут держать на длинных вожжах идущие в некотором отдалении мужики. Один понесёт охапку соломы, чтобы бросить на лёд, если он окажется некрепким.

Так и пошли.

Илюха шёл впереди, медленно, ударяя пешней перед собой, и после каждого удара прислушивался. Лёд отвечал глухо, где крепко, и звонко, с треском, где тонко. Пётр шёл за ним шагах в пяти, обвязанный вожжами по поясу, с сумкой на боку, и смотрел себе под ноги. Под ногами, сквозь прозрачный лёд, тёмная вода тянула мелкие пузырьки. Сзади, на расстоянии, шли мужики, держа вожжи в руках, натягивая их не туго, но так, чтобы можно было рвануть.

Шли молча. Слышно было только, как стучит пешня и как потрескивает лёд.

Посреди реки Илюха вдруг остановился. Ударил пешней раз, другой. Лёд ответил высоким, тонким звуком.

— Солому! — крикнул Илюха, не оборачиваясь.

Мужик с охапкой подбежал, держась в стороне, и бросил солому вперёд, широко, веером. Илюха ступил на неё. Пётр — за ним. Солома хрустнула, лёд под ней прогнулся едва заметно, будто вздохнул. Прошли.

Больше солому стелить не пришлось. Через несколько минут Илюха ударил пешнёй в прибрежный лёд, и тот отозвался глухо, крепко. Они вышли на берег.

Мужики, сматывая вожжи, подошли следом. Все были довольны, как после хорошей работы.

— Ну, барин, давай расписку, — сказал старик и засмеялся.

Пётр достал из сумки лист бумаги, карандаш и написал, положив лист на колено: «Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что утонул по воле Божьей, а не по вине крестьянской». Подписался: «Есаул Кропоткин». Поставил число.

— Да на что она теперь, — сказал Илюха. — Не утонул же.

— Возьми, — сказал старик. — Пусть лежит. Начальству покажем, ежели что. Мол, курьера по вчерашнему льду перевели, а он, вишь, своей рукой написал, что не утонул.

Мужики хохотали. Пётр тоже.

Он поехал дальше, а лист бумаги остался у старика за божницей.

В кибитке он думал об этой расписке.

Мужики не боялись льда. То есть боялись, конечно, — но лёд был делом понятным: пешня, вожжи, солома, глаз Илюхи. Против льда они знали, что делать, и делали вместе, все, как один. Боялись они другого. Утонет казённый курьер — и придёт исправник. Будет следствие, протокол, допросы, кто вёз, почему пустили, кто виноват. Кого-нибудь посадят, кого-нибудь высекут, на всё село наложат взыскание. Против этого пешня не помогала.

Расписка была нужна не Богу. Расписка была нужна от начальства.

Он вспомнил Анисью, высеченную заседателем Марковичем. Вспомнил, как мужики под Верхнеудинском десять дней молчали, потому что до Бога высоко, до царя далеко, а заседатель — вот он. Здесь было то же самое. Люди держали друг друга на вожжах над тонким льдом. А над всеми ними, как ещё один тонкий лёд, лежало государство. Его нельзя было прошупать пешнёй, и от него не спасала солома. От него спасала только бумажка. Да и та — не всегда.

Обь и Иртыш он переправлял, когда по ним уже густо шёл лёд.

Льдины плыли сплошной кашей, сталкивались, лезли одна на другую, скрипели. Перевозчики вели лодку между ними, отталкиваясь шестами, и казалось, вот-вот лодку затрёт и раздавит. На Оби одна льдина ударила в борт так, что лодку развернуло, и два перевозчика навалились на шесты, выправляя её. Пётр сидел на дне, держась за сумку. Он уже перестал бояться. Он только считал дни.

В Барабе и на Урале путешествие превратилось в настоящую пытку. Он ехал без остановок, спал в кибитке урывками, по часу, по два, ел на станциях стоя, не снимая тулупа. Лицо обветрилось, губы растрескались. Иногда он не помнил, какой сегодня день.

В Нижнем Новгороде он сел в поезд.

В Москве, на вокзале, его встречал Саша.

Он увидел брата сразу, из окна вагона: высокий, худой, в старом пальто, Саша стоял на платформе и вглядывался в окна. Пётр выскочил, не дожидаясь, пока поезд остановится, и они обнялись. Саша отстранил его, посмотрел — на обветренное лицо, на бороду, на казачий мундир, грязный после трёх недель дороги, — и сказал:

— Петух ты мой. Ну и вид.  
Они не виделись год и четыре месяца.

До вечернего поезда оставалось полдня, и Саша повёз его к себе.

Он жил в мансарде в переулке за Арбатом: одна комната с косым потолком, железная кровать, стол у окна, полка из досок на кирпичках. На столе, на подоконнике, на полу стопками лежали книги и исписанные листы. Пахло табаком и холодной печью. Дров, видно, давно не покупали.

— Вот, — сказал Саша, обводя рукой комнату. — Моё княжество.

Пётр взял со стола верхний лист. Почерк брата, мелкий и быстрый, шёл без полей, от края до края. «Бог перед судом разума. Глава третья. О так называемом доказательстве от целесообразности...» Под ним лежала другая стопка, потолще, с заглавием «О происхождении видов» и пометкой сбоку: «по Дарвину и против Дарвина».

— Против? — спросил Пётр.

— Кое в чём. — Саша оживился. — Понимаешь, у него всё держится на борьбе. Особей рождается больше, чем может прокормиться, — и они дерутся за место, и выживает сильнейший. Это красиво и, наверное, верно. Но я читаю и думаю: а почему тогда муравьи? Пчёлы? Почему волки охотятся стаей? Почему птицы летят клином? Если все дерутся со всеми, откуда эти стаи?

Пётр медленно положил лист на стол.

— Саша, — сказал он, — я видел это.

И рассказал про Барабу. Про августовский снег, про мёртвых птенцов в гнезде и чёрную кайму насекомых у луж, про утят, сбившихся в кучу у подветренного берега, про лошадей в лощине, голова к хвосту, и про журавлей-караульчиков. Про то, что борьба была, но шла она с морозом, а не друг с другом.

Саша слушал, не перебивая. Потом схватил карандаш и стал записывать на полях.

— Вот, — сказал он. — Вот это и есть. Ты видел, а я только думал. Напиши мне об этом подробно. Всё, что видел. Птиц, лошадей, снег.

— Напишу. Только ты приезжай и смотри сам.

Они просидели над рукописями до самого поезда и чуть не опоздали. На извозчике Саша ещё что-то доказывал, размахивая руками, и извозчик оборачивался на него с опаской.

Петербургский поезд уходил вечером. Они сели в вагон вместе: Саша ехал с ним. Пётр не помнил, кто это предложил. Кажется, никто. Просто Саша сел в вагон, и всё.

Ночь они проговорили.

Поезд шёл медленно. В вагоне было полутемно, горела одна свеча в фонаре, пассажиры спали. Они сидели рядом у окна, за которым ничего не было видно, и говорили вполголоса, как когда-то в людской в Левшинском переулке.

Пётр рассказывал про Сибирь. Про пермский звон кандалов, про столб на Урале, про старуху с полочкой, про Барабу и журавлей, про казаков на Иртыше и колыбельную, про Кукеля и комнату с Герценом, про Марковича и Анисью, про Михайлова и Прудона, про сплав, про мальчика на руле, про Томь и расписку. Говорил долго, сбиваясь, перескакивая с одного на другое.

Саша слушал молча. Потом сказал:

— А у меня, Петя, весна была плохая.

Пётр посмотрел на него.

Саша рассказал — коротко, не глядя на брата. Весной он был на краю. Без места, без денег, без университета, под надзором. Отец не давал ни копейки. Он думал о том, чтобы покончить с собой. Всерьёз. Однажды взял в руки... Он не договорил.

— И что тебя удержало?  
— Работа. — Саша усмехнулся. — Я пишу. «Бог перед судом разума». И ещё одну вещь — о происхождении видов, по Дарвину. Сидел ночами. Пока пишешь — живёшь.  
Пётр долго молчал. Потом сказал:  
— Поезжай в Сибирь, Саша.  
— Куда? Кем?  
— Офицером. В иркутский казачий полк. Я попрошу Корсакова. Там нужны люди. Там...  
— он искал слово, — там дышать можно.  
Саша смотрел в тёмное окно.  
— Ты же сам писал, что там всё под сукно, — сказал он наконец.  
— Под сукно — то, что сверху. А то, что снизу, — живое. Ты увидишь.  
Саша ничего не ответил. Но Пётр видел, что он думает.

На той же скамье, напротив, сидела девушка.  
Пётр заметил её не сразу. Молодая, лет девятнадцати, в тёмном платье, с открытым лицом и короткими вьющимися волосами. Она не спала. Она давно уже слушала их разговор, не скрываясь, и когда Пётр дошёл до Томи и до расписки, засмеялась вслух.  
— Простите, — сказала она. — Я не нарочно подслушиваю. Но вы так рассказываете...  
И разговор, начавшийся вдвоём, пошёл втроём. Девушка спрашивала про переселенцев, про ссыльных, про казаков, про то, как живут бабы в Сибири, есть ли там школы. Спорила горячо, перебивала, не соглашалась. Когда Пётр сказал, что народ сам умеет устраиваться лучше, чем начальство, она вскинулась:  
— Умеет? Так почему же он тогда живёт так, как живёт? Почему его секут? Почему он молчит?  
— Потому что над ним государство.  
— Так значит, надо государство...  
Она не договорила. В вагоне кто-то заворочался.  
Говорили до рассвета. Под утро девушка сошла на какой-то станции, не доезжая Петербурга. Они даже не спросили, как её зовут.  
Через много лет эта девушка — Екатерина Брешко-Брешковская, «бабушка русской революции», — напишет в воспоминаниях, что однажды в поезде красивый молодой князь, возвращавшийся из Сибири с докладом о погибших баржах, говорил с ней часами. Пётр этого разговора потом не помнил. А может быть, это был вовсе не тот поезд и не тот князь. Мемуаристы часто путают.

Он прибыл в Петербург рано утром.  
Двадцать четыре дня и ночи непрерывной дороги. В тот же день он сдал бумаги в канцелярию и, выйдя на Невский, вдруг почувствовал, что ему двадцать лет, что он жив, что он в Петербурге, — и пошёл навестить одну из своих тёток, вернее, кузину.  
Она сияла.  
— Петя! Откуда? С Амура? Господи, какой ты чёрный! Сегодня у нас танцуют. Придёшь?  
— Конечно.  
И не только пришёл, но танцевал до раннего утра. Мазурку, вальс, кадрили, опять мазурку. Барышни ахали, слушая про Амур и тайфуны. Саша стоял у стены — он не танцевал — и смотрел на брата с улыбкой.  
Молодость — великое дело.

На другой день начались визиты к властям. И Пётр понял, почему послали именно его. Сначала никто не хотел верить, что баржи погибли.

— Вы сами были на месте? Видели обломки собственными глазами? Уверены вполне, что груз попросту не украли, а вам не показали для отвода глаз обломки нескольких барж?

На эти вопросы он отвечал всё время, в каждом кабинете, одно и то же: был, видел, уверен.

Высшие сановники, заведовавшие в Петербурге сибирскими делами, были восхищены в своём полном неведении края.

— Mais, mon cher, — сказал ему один из них, Бутков, который всегда говорил с ним, мешая русский с французским, — возможно ли, чтобы, например, на Неве погибли сорок барж и никто не поспешил бы их спасти?

— Нева! — воскликнул Пётр. — Представьте себе три, четыре Невы рядом, и вы получите Амур в низовьях.

— Неужели он так широк?

Через две минуты штатский генерал на отменном французском языке болтал уже о разных разностях.

— Когда вы в последний раз видели художника Шварца? Не правда ли, его «Иван Грозный» — удивительная картина? А знаете, почему хотели арестовать Кукеля?

И рассказал о перехваченном письме, в котором Кукеля просили оказать содействие польскому восстанию.

— А знаете, что Чернышевский арестован? Он теперь сидит в крепости.

— За что? Что он сделал?

— Ничего особенного! Но знаете, mon cher, государственные соображения!.. Такой талантливый человек, удивительно талантливый! Притом такое влияние на молодёжь. Вы понимаете, конечно, правительство не может этого терпеть. Решительно не может! Intolérable, mon cher, dans un État bien ordonné.

Недопустимо в благоустроенном государстве.

Пётр вышел из кабинета Буткова и долго стоял на набережной. Чернышевский сидел в крепости — вот здесь, за рекой, в Петропавловской, — за «ничего особенного». Сорок четыре баржи на Амуре волновали Буткова меньше, чем картина Шварца. Вот оно, благоустроенное государство.

Граф Николай Павлович Игнатьев, директор Азиатского департамента, много вопросов не задавал. Он очень хорошо знал Амур — и знал также Петербург. Среди шуток и острот о Сибири, которые сыпались у него с удивительной быстротой, он заметил:

— Как это хорошо вышло, что вы были на месте и видели крушение. Они устроили это очень ловко, послав вас. Умно сделано. Сперва никто не хотел верить, думали — новое мошенничество. Но вас здесь хорошо знают, вы паж, недолго пробыли в Сибири и не стали бы выгодивать их плутовство. Вам здесь доверяют.

Пётр поклонился. Он не знал, радоваться ему или нет.

Значит, вот как. Сибиряку, который двадцать лет водит сплавы, не поверят. Казачьему офицеру из Сретенска, который приплыл на пустой барже спасти груз, не поверят. Мальчику Гаврюшке, атаману станицы, мужикам с Томи — не поверят. Поверят камер-пажу, которого видели во дворце. Поверят князю.

Он вспомнил, как в Чите писал проект городского самоуправления, и как Ефим Лукич, поселенец, говорил про каланчу: «Миром бы и поставили». Здесь, в Петербурге, никто никогда

не услышит Ефима Лукича. Здесь решают за Сибирь люди, которые не знают, широк ли Амур, и которые доверяют только тем, кого видели на балу.

Сибирь управлялась как колония. Из кабинета на Дворцовой набережной, за шесть тысяч вёрст.

Он вспомнил бабушку Сулиму. Сечь тоже когда-то управлялась из Петербурга — пока Петербург не решил, что вольное казачество ему ни к чему, и не послал войска разорить её. Императрица Екатерина подписала указ, не видев Днепра, как Бутков не видел Амура.

Через пятьдесят с лишним лет, в 1918 году, в Москве, он скажет с трибуны, что централизация — язва и что Россию может спасти только федерация вольных областей. И вспомнит, как когда-то из Петербурга управляли Сибирью.

Единственным человеком в Петербурге, отнёсшимся к делу вполне серьёзно, был военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин.

Он задавал вопросы, и все вопросы шли к делу. Он сразу понял суть. Разговор шёл короткими фразами, без торопливости, но и без лишних слов.

— Вы думаете, на низовья Амура лучше всего доставлять провиант морем, а на остальные части — через Читу?

— Да.

— Очень хорошо. Ну а если и в будущем году случится буря, не погибнет ли опять весь сплав?

— Едва ли, если сплав будут сопровождать два буксирных парохода.

— Довольно двух?

— Если бы у нас был хоть один пароход, потери были бы уже не так велики.

— Очень возможно. — Милютин записал что-то в книжку. — Сделайте мне доклад письменно. Изложите всё, что сказали, совершенно просто, без всяких формальностей. Военному министру больше ничего не нужно.

Пётр писал записку всю ночь, в номере гостиницы. Саша сидел рядом, читал, поправлял. Получилось коротко и ясно: морем — в низовья, буксиры — для сплава, склады — в средней части Амура. Утром отнёс.

Что стало с запиской потом, он не узнал.

В Петербурге он пробыл недолго. Отправил в «Московские ведомости» новые корреспонденции об Амуре. Сходил с Сашей в оперу, на шестой ярус, как в корпусе. Зашёл в Пажеский корпус — и вышел, не дойдя до классов: всё казалось маленьким, тесным и чужим.

Перед отъездом они с Сашей сидели вечером в трактире у Николаевского вокзала.

— Я попрошу о переводе, — сказал Саша. — В иркутский полк. Подаю прошение.

— Правда?

— Правда. Отец будет в ярости. Ну и пусть. Хуже, чем здесь, не будет.

Пётр схватил его за руку через стол.

— Я встречу тебя. Где бы я ни был — встречу.

Саша улыбнулся — той своей улыбкой, редкой и чуть печальной, которую Пётр помнил с детства.

— Ты, Петух, сначала сам доберись.

Обратно он ехал зимой, санным путём.

Те, кто не знает Сибири, думают, что зимнее путешествие ужасно тяжело. На самом деле оно легче, чем в любое другое время года. Сани несутся по накатанной дороге. Холод сильный, но переносится сравнительно легко, если лежишь в кошеве, как это принято в Сибири, закутанный в двойную меховую полость. Тогда не особенно страдаешь от мороза даже в сорок и пятьдесят градусов.

Он ехал курьером: быстрые перепряжки, остановка раз в сутки, на один час, для обеда. В сутки он проезжал в среднем по триста вёрст. Тысячу вёрст от Красноярска до Иркутска сделал за семьдесят часов. Мороз стоял не особенно сильный, дорога была отличная, ямщики хорошо получали «на водку», и тройке быстрых лошадок как будто доставляло удовольствие мчаться лёгкую кошеву по горам и долам, по замёрзшим рекам и среди тайги, сверкавшей на солнце в серебряном уборе.

На Урале, на перевале, кошева пронеслась мимо мраморного столба. Пётр велел ямщику придержать. Столб стоял в снегу по пояс, на избушке сторожа лежала белая шапка, из трубы шёл дым. С этой стороны было выбито «Азия».

Полтора года назад он стоял здесь с Петровым, и Петров спрашивал, что это за памятник, а он сам удивлялся, где же хребет. Теперь он знал, что хребта в том смысле, в каком его рисуют на картах, здесь, может быть, и нет. Что Урал — это не стена, а широкое вздутие земли. Что граница между Европой и Азией проведена по бумаге, как многое другое. Люди по обе стороны столба жили одинаково — держали друг друга на вожжах над тонким льдом и ставили хлеб на полочку под окном. Разница была в другом: по ту сторону был барин, а по эту его не было.

— Трогай, — сказал он ямщику.

В Барабе он нарочно остановился на той станции, где осенью сняли колесо с телеги. Митрий был дома. Новое колесо ему сладили, как обещали, на другой же день. Сладили всем двором: старик-тележник гнул обод, ямщики тесали спицы, Митриева баба варила им щи.

— А кто платил? — спросил Пётр.

— Кто ж за такое платит, — удивился Митрий. — Мы за курьера не берём. Он ведь не для себя скачет.

Пётр хотел оставить ему денег. Митрий не взял.

На Томи, проезжая мимо той деревни, он велел ямщику остановиться и зашёл в избу перевозчиков. Старик с белой бородой был дома.

— А, курьер! — сказал он. — Живой. А расписка-то твоя у меня лежит. — Он кивнул на божницу. — Показать?

— Не надо, — засмеялся Пётр. — Пусть лежит.

Илюха, узнав, прибежал с другого конца деревни. Пётр подарил ему свой складной нож. Илюха вертел нож в руках, краснел и не знал, что сказать.

Через девятнадцать дней после выезда из Петербурга, в середине февраля 1864 года, Пётр был в Иркутске.

Его назначили чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири по казачьим делам. Жить надо было в Иркутске. Но дела, собственно, почти не было. Из Петербурга пришёл молчаливый приказ: никаких перемен не предлагать, предоставить делам идти заведённым порядком.

Пётр сидел над бумагами, которые никто не читал, и смотрел в окно на замёрзшую Ангару. Записка Милютину, проекты читинских комитетов, донесение о баржах — всё ушло туда, на запад, в Петербург, и растворилось, как льдины в Оби.

Он достал дорожную тетрадь. Между страницами лежали листок с колыбельной и список имён из села под Верхнеудинском. Он вложил туда ещё одну бумажку — копию расписки, которую написал на Томи. Он сделал её тогда же, в кибитке, на память.

«Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что утонул по воле Божьей, а не по вине крестьянской».

Он перечитал её и подумал, что это, может быть, самый честный документ, который он подписал за всю свою службу.

Через несколько дней Корсаков вызвал его к себе.

— Кропоткин, — сказал он, — вы ведь любите путешествовать? Есть одно дело. В Маньчжурию. Только, предупреждаю, ехать придётся не князем и не офицером.



## Глава 12. Купец второй гильдии Пётр Алексеев

*Иркутск, Забайкалье, Старо-Цурухайтуй, Большой Хинган, Мерген, Айгунь, Благовещенск; март — июнь 1864*

Корсаков развернул на столе карту и провёл по ней пальцем.

— Смотрите. Граница идёт по пятидесятому градусу, а здесь, в Забайкалье, круто поворачивает на северо-восток. Четыреста вёрст вниз по Аргуни. Потом, у Амура, — на юго-восток, до Благовещенска. Тот опять под пятидесятым градусом. Выходит угол. От Цурухайтуя до Благовещенска по прямой — семьсот вёрст. А по Аргуни и Амуру — больше полутора тысяч, и по Аргуни не пройдёшь: она несудоходна, в низовьях только горная тропа. Вы её знаете.

— Знаю, ваше превосходительство. Прошлой осенью ехал.

— Так вот. В юго-восточном углу Забайкалья у казаков скота пропасть. Сбыта нет. А на Амуре скот нужен, и платят хорошо. Казаки от монголов слышали, что если идти прямо на восток, через Большой Хинган, выйдешь на старую китайскую дорогу. Она через перевал ведёт в маньчжурский город Мерген, а от Мергена до Амура колёсный тракт. Казаки хотят снарядить торговый караван и найти эту дорогу. Нужен начальник. Пойдёте?

Пётр смотрел на карту. Между Цурухайтуем и Амуром на ней было белое пятно, вёрст семьсот пятьдесят в ширину и девятьсот в длину. Ни одного названия. Только посередине тянулась толстая чёрная гусеница с надписью «Большой Хинган» — грозная и, судя по рисунку, непроходимая.

— Кто там был?

— Никто. Европейцев — никого. Два иезуита при императоре Канси прошли с юга до Мергена и определили его широту. Больше никто. Наш топограф Ваганов пошёл туда незадолго до вас — его убили. Китайских географов я велел поднять — у них про этот край ни слова.

— Пойду, — сказал Пётр, не раздумывая.

— Подождите соглашаться. — Корсаков откинулся в кресле. — Есть затруднение. По договору богдыхан дал русским право торговать в Китайской империи и в Монголии. Про Маньчжурию в договоре ни слова. Можно толковать так, можно этак. Китайцы толкуют по-своему, мы по-своему. И там сказано — купцам. Офицера туда не пустят ни под каким видом. Значит, пойдёте купцом.

Он протянул бумагу. Это был паспорт — лист обыкновенной писчей бумаги с несколькими строками по-русски и по-монгольски и сургучной печатью: «Иркутскому второй гильдии купцу Петру Алексееву с товарищами».

Пётр прочёл и засмеялся.

— Пётр Алексеев. Без фамилии.

— Без фамилии и без титула. — Корсаков тоже улыбнулся. — И дайте мне слово, что ни в каком случае себя не выдадите. Даже если китайские власти вас арестуют, повезут в Пекин, а оттуда через Гоби до русской границы в клетке на спине верблюда. Китайцы так арестантов возят.

— Даю слово.

В Иркутске он накупил товара и взял ещё на комиссию у купцов: сукно, плис, позументы, галантерейную мелочь. Купцы, узнав, для чего, давали охотно и в долг: если дорога откроется, им же будет выгода.

Потом он засел за книги. Читал «Азию» Риттера, учебник геологии, всё, что было в библиотеке Сибирского отдела о Маньчжурии и Монголии. Читал и с каждым днём всё больше понимал, как мало знает.

«Буссоль за пазуху, барометр в карман — и марш, — писал он брату в Москву. — Одежда — как у простого казака. Но, Саша, я шифера не отличу от гранита или почти так. Растительность — как я её опишу? Срисую? Как?»

Он нарисовал себя в купеческом кафтане и картузе, с бородой лопатой и плутоватыми глазами, и подписал: «Автопортрет купца Петра Алексеева». Рисунок вложил в письмо: пусть брат посмеётся.

В апреле он выехал в Читу.

По Забайкалью он ехал с капитаном Буксгевденом, командиром местной казачьей бригады, весёлым остзейцем, который отлично знал своих казаков.

— Труднее всего, Пётр Алексеевич, будет не с китайцами, — говорил Буксгевден. — Труднее всего будет с нашими. Казак по части проницательности и пытливости любого монгола за пояс заткнёт. Вот увидите.

Пётр увидел на первой же станции. Хозяин избы, встречая гостя с большим радушием, тут же подверг его настоящему допросу:

— Однако, дорога трудная. Далеконько от Читы?

«Однако» здесь значило «должно быть».

— А особенно ежели ехать, может, не из Читы, а из самого Иркутска?

— Торгуете? Много торговых людей тут проезжает. Однако и до Нерчинского доедете? В ваши годы тоже женаты бывают. Хозяйка, пожалуй, дома осталась? Деток тоже имеете? Тоже, поди, не все парнишки, и дочки есть?

И так добрых полчаса.

Пётр отвечал, как отвечал бы купец: уклончиво, с поклоном, с прибаутками. Купцов он знал. В Чите и Иркутске, в любительских спектаклях, он играл Островского, и почти всегда — молодых купчиков. Он изучил их манеру говорить, их ухватки, их «покорно благодарим-с» и чаепитие с блюдечка — этому он научился ещё в Никольском, на ярмарке, распивая чай с лавочниками в трактире.

Теперь ему выпадало сыграть купца не на сцене, а в жизни.

— Присаживайтесь, Пётр Алексеевич, — говорил Буксгевден, когда на стол почтовой станции ставили пыхтящий самовар.

— Покорно благодарим-с, мы и здесь посидим, — отвечал Пётр и садился вдалеке, на самый кончик стула.

Он наливал чай в блюдечко, держал его на растопыренных пальцах, выпучив глаза, дул, грыз кусочек сахара и выпивал так три-четыре стакана, отдуваясь и утирая лоб платком. Буксгевден, глядя на него, надрывался от смеха и отворачивался к окну.

Они знали, что казаки скоро всё проведуют. Важно было выиграть несколько дней, чтобы перейти границу, пока не станет известно, кто он.

В одной из станиц хозяйка, старая казачка в тёмном платке, окликнула его, когда он выходил к повозке:

— Ты, купец, за тобой ещё кто едет?

— Не слыхал, бабушка.

— Как же. Сказывали, князь какой-то, Рапотский, что ли, должен проехать. Будет он, нет ли?

— Да, точно, бабушка, — сказал Пётр, кланяясь. — Их сиятельство действительно хотели приехать из Иркутска. Ну да где же им в такую погоду! Так они и остались в городе.

— Что и говорить, — согласилась старуха. — Где уж ему ехать. Князю-то.

Пётр сел в повозку и хохотал до следующей станции. «Князь Рапотский» остался в Иркутске, в тепле, а по Забайкалью трясся на телеге купец Пётр Алексеев. И купцу, пожалуй, было лучше.

В апреле Забайкальская степь была ещё бурой, прошлогодней, только в низинах пробивалась первая зелень. По степи бродили табуны бурят — исхудалые, со впалыми боками, с торчащими рёбрами. Конец зимы.

— Отчего они такие худые? — спросил Пётр у Буксгевдена. — Неужели травы нет?

— Трава есть. Под снегом её много, всю зиму. Только снег тут, хоть и тонкий, к весне коркой берётся. Гололедица. Лошадь копытом её бьёт, бьёт — и выбивается из сил раньше, чем доберётся до травы. А в иной год в мае, когда уже тепло, вдруг метель на три дня. Вот тогда падёж.

На одной стоянке, в бурятском улусе, Пётр заметил другое. У нескольких юрт стояли стога сена, огороженные жердями. Около них паслись лошади — заметно крепче степных, круглее.

Старик-бурят, хозяин улуса, объяснил через Буксгевдена: сено косят всем улусом, летом, и держат на чёрный день — на гололедицу, на метель. Стог не свой, общий, улусный. Кто беден и своего не накопил, тому тоже дают, когда придёт беда. Тот потом отработает.

— И давно так?

Старик пожал плечами.

— Раньше не косили. Раньше лошадей много падало. Теперь косим — меньше падает. Больше стало табуна.

Пётр записал это в тетрадь. Через много лет, в книге о взаимной помощи, он напишет, что стоит бурятам начать делать хотя бы самые незначительные запасы сена в степи, как немедленно замечается увеличение их стад и табунов. Что численность травоядных в степях держит низкой не взаимная борьба из-за пищи, а климат — гололедица и весенние бураны. А против климата помогает только одно — общий запас.

Старо-Цурухайтуй был последним пунктом на русской стороне. Крошечный казачий посёлок на берегу Аргуни, несколько изб, караульня, церквушка. За рекой лежал Китай.

Здесь его и узнали.

Слух о «князе Рапотском» опередил его, и кто-то из местных сопоставил одно с другим. Через день весь посёлок знал, что купец Пётр Алексеев — князь. На него смотрели с любопытством, шептались, бабы выглядывали из-за плетней.

Он писал брату с досадой: «Хотел и здесь слыть купцом — напрасная мечта, узнали, что я князь; проклятая кличка везде пакостит».

Проклятая кличка. Он перечитал эти слова и подумал, что никогда ещё не чувствовал так ясно, как титул мешает. В Петербурге он был нужен: Игнатъев поверил пажу и князю. Здесь он только мешал. Он стоял между ним и людьми, как стекло.

Решили переходить границу немедленно, не дожидаясь, пока слух дойдёт до китайского караула.

Караван собрался в тот же день, 21 мая.

Кроме Петра, в нём было одиннадцать казаков и тунгус, все верхом. Гнали на продажу косяк в сорок лошадей. Были две повозки. Одна из них, одноколка, принадлежала Петру: в ней лежали сукно, плис, позументы. С конём и одноколкой он справлялся сам, без всякой помощи.

Перед выходом казаки собрались в кружок у караульни. Надо было выбрать старшину — для переговоров с китайскими властями.

Пётр стоял в стороне и смотрел. Он думал, что казаки спросят его: он ведь начальник каравана, его назначил генерал-губернатор. Казаки не спросили. Они поговорили между собой, недолго, и выкрикнули одного — немолодого, рассудительного, говорившего по-монгольски лучше всех.

— Ты, Софроныч, будешь за старшего. Ты с ними говорить умеешь.

Софроныч кивнул, сдвинул шапку на затылок и пошёл проверять подпруги.

Пётр смотрел на это и вспоминал бабушку Сулиму. «Сами выбирали атамана, а не понравится — сами и скидывали». Казаки на Аргуни никогда не слыхали про Сечь. Но атамана они выбирали так же — в кружок, криком, без бумаги.

— А я? — спросил он у Софроныча с улыбкой.

— А ты, Пётр Алексеевич, при нас купец, — серьёзно ответил казак. — Купец и есть. Торгуй себе, смотри свою буссоль. А говорить с ихними — это уж я.

Казаки, конечно, знали, кто он. Один из них даже видел его в Иркутске, в генерал-губернаторском доме, в мундире. Но никто не выдал. Все понимали, что от молчания зависит успех дела. Никто не сказал об этом ни слова. Не было ни уговора, ни приказа. Просто с того дня, как они перешли Аргунь, для всех одиннадцати он был Пётр Алексеевич, купец, и только.

На нём был такой же синий бумажный халат, как на казаках, и монгольская шапка. Китайцы до того его не замечали, что он мог свободно вести съёмку буссолью.

Только в первый день было трудно. На китайском карауле за Аргунью их окружили солдаты в надежде получить ещё чашку водки. Солдаты старательно переписали всё, что лежало на телегах, угостились спиртом, а уходить не хотели — толкались вокруг, заглядывали под рогожи, трогали сукно. Пётр должен был украдкой поглядывать на буссоль, спрятанную в рукаве. Засечки и расстояния он записывал карандашом на клочке бумаги прямо в кармане, не вынимая её, вслепую.

Вечером, у костра, он вынул бумажку. Каракули налезали друг на друга, но разобрать было можно. Он переписал всё начисто в тетрадь и засмеялся.

— Чего ты? — спросил Софроныч.

— Учился в Пажеском корпусе десять лет. А вот этому, — Пётр показал исписанную вкривь бумажку, — не учили.

Когда китайские солдаты убедились, что водки больше не будет, они оставили их в покое. И караван пошёл на восток, пробираясь как умел, горами и долинами.

Оружия у них не было совсем.

Только один тунгус, молодой, молчаливый, с косичкой и в расшитой бисером куртке, вёз с собой фитильное ружьё — даже не кремнёвое, а фитильное, древнее, как сам Хинган. Он собирался жениться. Из ружья он бил косуль, а шкуры складывал в тюк — копил на калым. Мясо съедали все вместе.

Звали тунгуса Никифор: крещёный, как многие тунгусы на Аргуни. Он понимал по-маньчжурски и по-монгольски, а по-русски говорил мало и неохотно.

Однажды вечером, у костра, Пётр спросил его через Софроныча, сколько шкур нужно на калым.

Никифор показал на пальцах: двадцать. У него было одиннадцать.

— А если не наберёшь?

Никифор пожал плечами и что-то сказал.

— Говорит, род поможет, — перевёл Софроныч. — У них так: ежели кто женится, а калыму не хватает, — род сбрасывается. Кто шкурку, кто оленя. Потом и он сбросится, когда другому надо будет.

— А если не сбросится?

Софроныч перевёл. Никифор посмотрел на Петра с удивлением, будто тот спросил, что будет, если не вставать по утрам.

— Говорит: как же не сбросится? Тогда ему и самому никто не даст. Тогда он один. А одному в тайге смерть.

Пётр смотрел на огонь. Одному в тайге — смерть. Он слышал это уже не первый раз. От ямщика в Барабе — про лошадь, отбившуюся от табуна. От извозчика под Томском — про подводку, брошенную обозом. От станичников под Чёртовым утёсом. От мужиков на Томи. Теперь от тунгуса на Хингане.

Разные люди, разные языки, разная вера. А мысль одна.

Ночами на стоянках караульных не назначали. Пётр сначала думал, что это беспечность, потом понял, что караульные не нужны. Сорок лошадей, пущенные пастись, сами держались вместе. С темнотой они сбивались в табун, жеребцы обходили его по краю, кобылы становились в середину. Однажды ночью Пётр проснулся от фыркания и топота. Табун стоял плотным кругом, головами внутрь, а за кругом, в кустах, светились зелёные огоньки. Волки постояли, посмотрели — и ушли. Ни одна лошадь не отбилась.

— Сами себя стерегут, — сказал утром Софроныч. — Табун волку не взять. Он одиночку берёт.

Сначала шли вверх по реке Ган, которая впадает в Аргунь, на восток. Холмистая степь по берегам скоро сменилась лесистыми предгорьями. Вёрст через сто вышли на приток Гана — Экен. У даурской деревни Ологи от него начиналась тропа на Мерген.

Дауры встретили их радушно. Это был маньчжурский народ, земледельцы и охотники, жившие в бревенчатых домах с бумажными окнами. Купцов здесь не видали годами. Казаки продали дауру двух лошадей и выменяли просо. Пётр выменял на позумент вышитый кисет.

Дальше пошли болота и лесные завалы. Яркая зелень травы была обманчива: под ней сочилась красноватая болотная вода. Об этом предупреждали ещё монголы. Но болота здесь были не то, что губительные тобольские: под мокрым слоем лошади находили твёрдое дно из песка и гальки и, упираясь в него, вытаскивали телеги.

В верховьях Экена, в густом лиственничнике, тянулись следы пожаров и бурь: сплошные завалы мёртвого леса. Казаки рубили проход топорами, растаскивали стволы, переводили лошадей под уздцы. Работали все, не разбирая, кто старший. Пётр рубил вместе со всеми, в синем халате, с топором, и к вечеру у него горели ладони.

На одной вершине они наткнулись на могилу. Под горой хвоста лежал завернутый в бересту человек, похороненный по обычаю ороchon — охотников, кочевавших на западных склонах Хингана. Рядом поднималась груда камней в две сажени — обо. Каждый, кто переваливал хребет, клал на неё камень.

Казаки сняли шапки. Потом каждый молча положил на груду по камню. Положил и Пётр.

На четвёртый или пятый день они действительно вышли на старую китайскую дорогу, которая должна была привести их через Хинган в Мерген.

Дорога петляла среди падей, лесов и скал, заросших цветущим багульником. Скалы стояли розовые и лиловые, будто облитые краской. Казаки смотрели и не верили глазам.

По дороге они нагнали крайне жалкого на вид старого китайского чиновника. Он ехал в одноколке впереди каравана, медленно, с писарем, сидевшим рядом. Пришлось плестись за ним шагом.

Местность заметно поднималась. Почва стала болотистой, дорога — грязной. Трава была скудная, деревья — тонкие, малорослые, искривлённые, покрытые лишаями. Справа и слева поднимались голые вершины — гольцы. Было холодно, хотя стоял конец мая.

Все думали о том, что впереди. На карте Большой Хинган был таким грозным, таким чёрным и страшным. Пётр представлял себе стены скал, ледяные перевалы, пропасти. Казаки проверяли подпруги и поглядывали на гольцы.

И вдруг старый чиновник остановился и вылез из своей таратайки.

Он стоял у обо — кучи камней и ветвей, к которым были привязаны конские волосы и цветные тряпочки. Старик выдернул несколько волос из гривы своего коня и, бормоча что-то, стал навязывать их на ветку.

Караван остановился. Софроныч подъехал ближе.

— Что это такое?

— Обо, — ответил старик, не оборачиваясь. — Отсюда воды текут уже в Амур.

Пётр не поверил своим ушам.

— И это весь Хинган? — спросил он через Софроныча.

— Да, весь. До самого Амура гор больше нет. Дорога идёт долинами между горами.

На мгновение все замолчали. Потом сильное волнение охватило весь караван.

— Отсюда реки текут уже в Амур! — закричал кто-то из казаков. — В Амур!

— В Амур! В Амур! — подхватили остальные.

Они кричали, смеялись, хлопали друг друга по спинам, кто-то кинул шапку вверх. Пётр смотрел на них и понимал, что это значит. С детства они слышали от стариков рассказы про великую реку, по берегам которой растёт дикий виноград и на сотни вёрст тянутся степи, способные дать богатство миллионам людей. Слышали про далёкий путь туда, про трудности первых поселенцев, про родственников, которые разбогатели на верхнем Амуре. И вот они нашли к нему короткий путь. Они — сами, без начальства, одиннадцать казаков, тунгус и купец.

Так, наверное, кричали запорожцы, когда с последнего порога открывался Днепровский лиман и впереди было море.

Казаки, спохватившись, поспешили к обо и в свою очередь стали привязывать к ветвям пучки волос, выдернутых из конских грив. Сибиряки вообще побаиваются чужих языческих богов. Ставят их не очень высоко, но считают способными на всякую пакость и потому предпочитают с ними не ссориться. Отчего бы не подкупить их небольшим знаком внимания?

А Пётр стоял на краю и смотрел вниз.

Перед ними был крутой спуск. Дорога шла вниз зигзагами до небольшой речки, которая пробивалась по широкой долине среди застывшего моря гор и текла в Нонни, к Амуру.

А позади, на западе, откуда они пришли, никакого спуска не было. Там лежало то же болотистое нагорье, по которому они поднимались четыре дня, — плоское, высокое, с гольцами по краям. Они не перевалили через хребет. Они просто дошли по плоскогорью до его края. И здесь плоскогорье обрывалось вниз, к Амуру, крутым уступом.

Хинган был не хребтом. Хинган был краем.

Он стоял и смотрел, и у него кружилась голова. На всех картах — у Риттера, у Гумбольдта, у русских и китайских картографов — Хинган рисовали толстой чёрной гусеницей, как стену. А стены не было. Был огромный стол высокого плоскогорья, и у этого стола был край. Восточная окраина. С запада к ней не поднимаешься — к ней подходишь по ровному. С востока — обрыв.

А если Хинган — край плоскогорья, то, может быть, и другие «хребты» Сибири — тоже края? Может быть, Азию надо рисовать совсем иначе: не как беспорядочную сеть хребтов, а как огромные ступени, плоскогорья, лежащие одно над другим, с крутыми окраинами?

Мысль была слишком большой, чтобы додумать её сейчас. Он записал в тетрадь: «Хинган — не хребет, а окраина высокого плоскогорья. Подъём с запада неощутим. Спуск на восток крут. Проверить!»

Он не знал, что проверять будет ещё семь лет. Что над картами Восточной Азии, над восемьюстами барометрическими высотами, он просидит два года в Петербурге. Что однажды ночью всё сойдётся в одну линию, и это будет главная минута его научной жизни. Что всё начнётся здесь, у обо, где старый китайский чиновник навязывал на ветку волосы из конской гривы.

Всякий путешественник легко представит себе его восторг при виде этого неожиданного географического открытия.

Спускались весь день.

— Глядите, что за дерево чудное! Дуб, должно быть! — кричали казаки, когда сошли с плоскогорья.

Дуб в Сибири не растёт и встречается только здесь, на восточном склоне.

— Глядите — орешник!

— А это что за дерево?

Это была липа. Потом пошли другие деревья, которых казаки никогда не видели и не знали, как назвать: маньчжурская флора. Трава поднималась по пояс, по грудь лошадям, густая, сочная, усыпанная цветами. Северяне, годами мечтавшие о тёплом крае, были в восторге. На стоянке они лежали на земле, на роскошной траве, жадно вглядывались в неё и, казалось, вот-вот начнут её целовать.

Никифор, тунгус, сидел в стороне и чистил ружьё. Ему тёплый край был не нужен. Ему нужны были косули. А косуль здесь, на восточном склоне, почти не было. Пётр заметил это ещё на плоскогорье: за все дни пути они видели всего несколько.

— Мало зверя, — сказал Никифор, и это была самая длинная фраза, которую Пётр от него слышал по-русски. — Зима. Снег. Зверь ушёл. Вместе ушёл.

— Куда?

Никифор махнул рукой на юго-восток.

— Туда. Где снега мало. Все вместе. Как люди.

Через два года, на Амуре, у Малого Хингана, Пётр увидит, как тысячи косуль, собравшись с огромной территории, переплывают Амур среди осеннего льда — все вместе, туда, где снега мало. И вспомнит Никифора.

Наутро старый чиновник, с которым они вместе перевалили Хинган, облачился в синий халат и в форменную шапку со стеклянным шариком и объявил, что дальше их не пустит.

Софроныч принял его в палатке вместе с писарем, которого казаки звали «божко». Пётр сидел в стороне, на сундуке, и делал вид, что разбирает товар.

Старик выставлял доводы против их путешествия, повторяя всё, что нашёптывал ему писарь. Он хотел, чтобы караван стал лагерем и ждал, пока он пошлёт паспорт в Пекин и получит оттуда распоряжение.

— Месяца три, — сказал Софроныч Петру через плечо. — Не меньше.

Они наотрез отказались. Тогда старик стал придирается к паспорту.

— Что это за паспорт? — говорил он, глядя с презрением на несколько строк, написанных по-русски и по-монгольски на обыкновенном листе писчей бумаги и скреплённых сургучной печатью. — Вы сами могли его написать и припечатать пятаком. Вот, взгляните на мой паспорт. На это стоит посмотреть!

Он развернул перед ними лист в два фута длиной, сплошь исписанный китайскими знаками.

Пётр сидел в стороне и рылся в сундуке. Под руку ему попался номер «Московских ведомостей». Сверху на газете, как известно, помещается государственный герб — двуглавый орёл.

— Покажи ему, — сказал он тихо, протягивая газету Софронычу.

Софроныч развернул громадный лист и молча показал на орла.

Старик смотрел на газету. На орла. На колонки мелкого шрифта, которые тянулись вниз, вниз, на четыре страницы.

— Неужто тут всё про вас написано? — спросил он с ужасом.

— Да, всё про нас, — ответил Софроныч, не моргнув глазом.

Старик, как настоящая приказная крыса, был совершенно ошеломлён такой массой письма. Он покачивал головой и поглядывал на каждого из них с уважением. Но «божко» опять что-то зашептал ему на ухо, и чиновник в конце концов заявил, что всё равно не позволит идти дальше.

— Довольно разговаривать, — сказал Пётр Софронычу. — Вели седлать.

Того же мнения были и казаки. Караван тронулся. Они распрощались со стариком, пообещав донести по начальству, что он употребил все меры, чтобы не пустить их в Маньчжурию, а если они всё-таки вошли, то виноваты сами.

Старик, кажется, остался доволен. Бумага у него будет в порядке.

Через несколько дней они были в Мергене.

Город был невелик: глинобитные стены, кривые улицы, лавки, кумирня с загнутой крышей, караульные солдаты с копьями. Жители высыпали на улицы смотреть на белолицых бородастых людей, каких здесь никогда не видели. Дети бежали за караваном и что-то кричали. Начальство приняло вежливо, но холодно.

Торговал Пётр немного и плохо. В Мергене он упорно запрашивал на ломаном маньчжурском за свои часы тридцать пять рублей, а китаец давал сорок пять — и купец Пётр Алексеев так и не понял, что ему предлагают больше. Казаки хохотали до слёз.

— Ну, Пётр Алексеевич, — сказал Софроныч, вытирая глаза, — не быть тебе купцом. Ты уж лучше буссоль свою смотри.

Зато сами казаки расторговались отлично. Они продали с большой выгодой всех своих лошадей. Продали и двух коней Петра, его товары, его палатку. Когда подвели итог, оказалось, что вся экспедиция обошлась казне в двадцать два рубля.

Двадцать два рубля. Пётр вспомнил сорок четыре баржи на дне Амура, Буткова, министерские канцелярии. Казённое дело стоило сто тысяч пудов муки и всё равно погибало. Дело, сделанное одиннадцатью казаками, тунгусом и купцом-самозванцем без всякого начальства, стоило двадцать два рубля — и удалось.

Из Мергена они пошли к Амуру через холмы Ильхури-Алиня.

На западном склоне хребта Пётр увидел то, чего никак не ожидал увидеть. Посреди зелёной долины поднимался правильный конус, а вокруг него лежали чёрные, ноздреватые, спёкшиеся глыбы. Лава. Он слез с коня, поднял кусок. Лёгкий, пористый, с острыми краями.

Вулкан. Потухший, но не очень давно — по геологическому счёту, конечно. Дальше, в стороне, виднелся второй конус, потом третий. Это была целая вулканическая область — в двух тысячах вёрст от моря.

Во всей Восточной Азии до сих пор никто не находил потухших вулканов. А по тогдашним теориям вулканы могли быть только у моря: их будто бы питала морская вода. Здесь моря не было.

Он набил шлаками седельную сумку, к недовольству своего коня. Местные звали это место Уюн-Холдонги. Через много лет географы назовут его загадкой, а потом подтвердят его открытие.

Две недели спустя после перевала они заночевали в последний раз, в тридцати вёрстах от Амура.

Казаки не спали. Они ворочались, переговаривались, вставали к костру. Вскоре после полуночи начали седлать коней и уговорили Петра тронуться задолго до рассвета. Они были нетерпеливы, как дети.

Когда наконец с гребня холма открылась синяя полоса Амура, в глазах этих бесстрастных сибиряков, вообще говоря чуждых поэтическому чувству, загорелся восторг. Никто не кричал. Они стояли на гребне, держа лошадей под уздцы, и молча смотрели на реку. Потом Софроныч снял шапку и перекрестился. За ним — остальные.

Пётр тоже снял шапку.

На правом берегу Амура, чуть ниже Благовещенска, стоял китайский город Айгунь.

Здесь Пётр беспокоился всерьёз. В Айгуне он бывал прошлым летом, когда шёл со сплавом, — в мундире, с Малиновским, открыто. Его могли узнать. А узнают — арестуют, и тогда «клетка на спине верблюда», про которую шутил Корсаков, перестанет быть шуткой.

Он сказался больным. Казаки уложили его на дно телеги, укутали с головой в рогожи и тряпки, обмотали лицо платком, так что торчал только нос. Софроныч сказал китайским караульным, что купец занемог животом и лежит. Караульные заглянули в телегу, увидели тряпичный ком, который стонал и охал, и брезгливо отошли.

Пётр лежал в телеге, задыхаясь от жары и пыли, и слушал, как вокруг ходят, говорят, торгуются. Он лежал так несколько часов, пока не подошла лодка для переправы через Амур. Казаки на руках перенесли его в лодку, всё так же закутанного.

На середине реки он размотал платок, сел и засмеялся.

Камер-паж его величества, есаул Амурского казачьего войска, князь Кропоткин, Рюрикович, лежал в телеге под рогожами, охая животом, чтобы его не узнали. А одиннадцать казаков, знавших, кто он, ни разу за месяц не проговорились. Ни на карауле, ни в Мергене, ни в Айгуне. Ни пьяные, ни трезвые.

Его спасло не имя. Его спасло то, что для одиннадцати человек он был своим — Петром Алексеевичем, который рубил с ними завалы, ел мясо Никифоровых косуль и не умел торговать часами.

В Благовещенске казаки собирались обратно, домой, на Аргунь — по рекам, кружным путём. Это займёт у них сорок дней. Прямой путь, который они только что нашли, занял шестнадцать.

Прощались на берегу. Пётр обошёл всех, каждому пожал руку. Софронычу он хотел отдать свой складной нож — тот отказался:

— Ты, Пётр Алексеевич, нож-то оставь. Тебе в дороге нужнее.

Никифор, тунгус, подошёл последним. Он молча развязал свой тюк, вынул одну косулюшку, лучшую, мягкую, с рыжим отливом, и протянул Петру.

Пётр растерялся.

— Это же на калым... Тебе же двадцать надо.

Никифор что-то сказал Софронычу. Тот перевёл:

— Говорит: ты в роду был. Месяц с нами ходил. Значит, сбросился. Теперь род ему поможет — добавят.

Пётр взял шкуру. Потом достал из сумки отрез сукна — последний, непроданный, хороший синий отрез — и протянул тунгусу.

— Невесте. На халат.

Никифор взял сукно, поглядел на него и улыбнулся — впервые за весь месяц.

В тот вечер, в Благовещенске, он писал брату:

«...Хинган оказался не хребтом, Саша, а краем плоскогорья — понимаешь, что это значит? Вся орография Восточной Азии, может быть, нарисована неправильно. Я нашёл вулканы — потухшие, в двух тысячах вёрст от моря. Путь открыт — прямой, лёгкий; казаки будут гонять скот. Экспедиция обошлась казне в 22 рубля.

Но не это главное. Месяц я был не князем, а купцом Петром Алексеевым. Одиннадцать казаков знали, кто я, и ни один не сказал. Они сами выбрали старшину и сами говорили с китайцами. Сами решали, где идти. А я ходил с ними, рубил завалы, ел из общего котла. И ни разу, Саша, ни разу за месяц мне не пришлось приказывать.

Знаешь, о чём я думал в Айгуне, лёжа под рогожами? Бабушка говорила: князей туда не брали. Так вот, Саша: меня взяли. Только не князя. Купца».

Он отложил перо.

В дорожной тетради, между страницами, лежали листок с колыбельной, список имён из-под Верхнеудинска, копия расписки с Томи. Он вложил туда клочок бумаги, исписанный вкривь и вкось, — первые засечки, которые писал вслепую, в кармане, на китайском карауле за Аргунью.

Косулюшку он потом всю жизнь возил с собой. В Петербурге она лежала на полу у его рабочего стола. В Лондоне — у кровати. Софья, жена, однажды спросила, откуда она.

— Калым, — сказал он. — Моя доля калыма за одну тунгусскую невесту.

И больше ничего объяснять не стал.



## Глава 13. Прощай. Кто?

*Благовещенск, Николаевск, Уссури, Сунгари, Гирин, Иркутск; июнь — октябрь 1864*

В Благовещенске Корсакова не оказалось: генерал-губернатор ушёл вниз по Амуру. Пётр написал брату, что хочет в Николаевск, а может быть, и на Сахалин, и несколько дней ждал попутного парохода в станице Поярковой, на берегу, где пахло рыбой, смолой и цветущим шиповником.

Всё лето он плавал по Амуру. Спустился до самого устья — вернее, до лимана, до Николаевска. Там, среди складов, барачков и мачт, он и нашёл генерал-губернатора.

Корсаков встретил его весело.

— А, купец Алексеев! Наслышан, наслышан. Двадцать два рубля! Я в Петербург так и написал: двадцать два рубля. Пусть знают, как у нас в Сибири экспедиции делают. — Он хлопнул Петра по плечу. — Ну, а теперь у меня для вас дело почище. Пойдёте со мной вверх по Уссури, посмотрите, как живут тамошние казаки. А осенью — Сунгари. Я назначаю вас историографом Сунгарийской экспедиции.

— Историографом? — засмеялся Пётр.

— А что? Будете писать историю. Кто-то же должен.

2 июля Пётр писал брату из Николаевска: его назначили «историографом Сунгарийской экспедиции». Он сам не знал, гордиться этим или смеяться.

Вверх по Уссури пошли на пароходе — генерал-губернатор со свитой, офицеры, чиновники.

Уссури была красивее Амура. Уже, быстрее, вода прозрачнее, а по берегам стоял лес, какого Пётр нигде ещё не видел: кедр рядом с маньчжурским орехом, пробковое дерево с мягкой, как губка, корой, бархат, липа, дикий виноград, обвивший ели до самой верхушки. Лианы свисали к воде. В затонах цвели лотосы — розовые, огромные, на высоких стеблях. В песке у воды попадались тигриные следы, широкие, как тарелка.

Это был тот край, о котором он мечтал в Пажеском корпусе над рисунками Маака. Он стоял у борта и не мог насмотреться.

Но по берегам этого рая жили люди, и жили они плохо.

Уссурийских казаков переселили сюда несколько лет назад из Забайкалья, ротами, по жребию, не спрашивая, хотят они или нет. Поставили станицами по берегу, через каждые двадцать — тридцать вёрст, чтобы держать границу и почтовую гоньбу. Земли было сколько угодно. Только земля эта стояла под лесом, а где не под лесом — там под водой. В июле с моря приходили муссонные ливни, Уссури выходила из берегов и заливала всё, что успели посеять. То, что не заливало, выклёвывали птицы. Миллионы перелётных птиц шли осенью по долине Уссури, затмевая небо, и садились на поля тучей.

Каждый год был недород. Каждую зиму казна кормила казаков привозной мукой, чтобы они не умерли с голоду. Каждую весну начальство требовало, чтобы казаки пахали, сеяли и кормились сами. Казаки пахали и сеяли. И каждое лето вода приходила снова.

15 июля пароход стоял у двадцать четвёртого стана.

Стан — несколько изб на высоком берегу, почтовая станция, часовенка. Было жарко, душно, над водой висела мошка. Генерал-губернатор с офицерами сошёл на берег осмотреть станицу. Остальных пригласили к чаю на палубу.

Стол накрыли белой скатертью. Самовар, сливки в фарфоровом молочнике, варенье, сдобные булки — пышные, золотистые, присланные из николаевской пекарни. Офицеры, чиновники, адъютанты сидели вокруг, пили чай, шутили. Кто-то рассказывал анекдот про епископа, все смеялись.

Пётр взял булку и вдруг поднял глаза.

На берегу, у самого трапа, стояли дети. Пятеро или шестеро, от пяти до десяти лет, босые, в рубашках, перешитых из мешковины. Они стояли молча и смотрели. Не на офицеров, не на пароход, не на самовар — на булки.

Они не просили. Они просто стояли и смотрели — тем взглядом, который бывает у голодных детей и который нельзя ни с чем спутать. Самый маленький держал во рту палец. Девочка постарше держала его за руку.

Пётр опустил булку на тарелку. Кусок застрял у него в горле.

Офицеры продолжали смеяться. Кто-то из них заметил детей, махнул рукой — мол, кыш, — и вернулся к анекдоту. Дети не ушли. Они просто отступили на шаг и продолжали смотреть.

Пётр встал, собрал со стола все булки, какие были, — завернул в салфетку — и сошёл по трапу. Отдал девочке. Девочка взяла салфетку, посмотрела на него без улыбки, развернула и стала раздавать булки по одной, сначала самому маленькому, потом остальным, себе последней. Дети съели всё тут же, стоя, жадно, роняя крошки.

Когда он вернулся на палубу, офицеры смотрели на него кто с усмешкой, кто с недоумением. Один сказал:

— Вы, князь, всех не накормите.

— Знаю, — сказал Пётр.

Вечером он долго сидел на корме, один, и писал в дневник. Писал торопливо, не выбирая слов.

«Не то я делаю, что бы нужно. Езжу, смотрю, записываю — а дети голодают. Пью чай со сдобными булками, а за бортом стоят голодные дети и смотрят. Что я делаю для них? Описываю? Историограф...

С кем переговорить? Саша — и его нет...»

Он остановился. Посмотрел на чёрную воду, на тёмный лес по берегам, на звёзды. Где-то в станице лаяла собака.

Рядом, на всём пароходе, не было ни одного человека, с которым он мог бы сказать об этом. Офицеры были неплохие люди, многие честные, некоторые умные. Но они сказали бы: «Вы, князь, всех не накормите». И были бы правы. И это было хуже всего.

Он дописал внизу страницы:

«Прощай. Кто?»

И сам не понял, кому это написал. Может быть, себе прежнему — тому, кто два года назад ехал в Сибирь «проводить реформы». Может быть, брату, которого не было рядом. Может быть, никому.

Наутро, 16 июля, он записал ещё одну строчку: «Где та польза, которую я мог бы приносить?»

На следующих станах он уже не сидел на палубе за чаем. Он сходил на берег и ходил по избам.

В одной станице, на сорок дворов, он застал казаков на общем покосе. Траву косили на высоком гриве, куда не доставала вода, — косили все вместе, всей станицей, и сено складывали в общие стога.

— Почему не каждый себе? — спросил Пётр.

Пожилой урядник, вытирая пот, пожал плечами.

— А тут, ваше благородие, каждому себе не выйдет. Грива одна. На всех её не поделишь — кому-то вершки, кому-то корешки. Косим вместе, а зимой делим по едокам. У кого детей больше, тому больше.

— По едокам? Не по работникам?

— А как же? Работник — он и без сена проживёт, а дитя — нет.

Пётр записал. Потом спросил, отчего недород.

Урядник рассказал всё — про воду, про птиц, про то, что сеют не там и не то. Начальство велит сеять рожь и пшеницу, как в Забайкалье. А здесь, на мокрой земле, рожь гниёт. Китайцы за рекой сеют просо, гаолян, бобы — и у них родится. Казаки хотели бы попробовать так же, да начальство не велит: «Не по уставу».

— А если бы вам самим решать?

Урядник посмотрел на него, как на человека, который спросил глупость.

— Самим? Самим мы бы давно сели повыше, на сопки, где вода не берёт. Да скот бы завели побольше — травы-то вона сколько. Да просо сеяли бы. Только кто ж нас спросит?

Пётр записывал. Через несколько месяцев он, как чиновник особых поручений по казачьим делам, сделает тщательное исследование хозяйства уссурийских казаков. Он напишет всё, что сказал этот урядник и десятки других: одним станицам помочь деньгами, другим — скотом, третьи переселить на лучшие места, на побережье. Доклад примут, его похвалят, его произведут, дадут награду. Все меры, указанные в докладе, будут приняты.

А выполнение их поручат старому пьянице, который станет розгами приучать казаков к земледелию.

Но это будет потом. Пока он только записывал.

20 июля он писал брату: Сунгарийская экспедиция будет «лубочная». На маленьком пароходе с баржей — двадцать восемь человек: шесть чиновников, два офицера, двадцать солдат. Спать можно будет разве что сидя.

Экспедицию придумала молодёжь. Сунгари, великая маньчжурская река, впадала в Амур почти напротив русских станиц, и о ней не знали почти ничего — все скудные сведения шли ещё от иезуитов. Им, молодым, казалось почти обидой, что у самого порога Амура лежит огромный край, такой же неизвестный, как какая-нибудь африканская пустыня. Они уговаривали генерал-губернатора, пока он не согласился.

Предлог нашли дипломатический: отвезти дружеское письмо гиринскому губернатору. Письмо вёз ургинский консул Шишмарёв. Начальником назначили полковника Черняева. В экспедицию вошли доктор Конради, астроном Усольцев, два топографа и он, Пётр.

Им дали маленький пароход «Уссури». Он тащил на буксире баржу с углём, больше пяти тысяч пудов, а на барже ехали двадцать пять солдат. Ружья солдат тщательно спрятали под углём.

— Зачем ружья, если мы с дружеским письмом? — спросил Пётр у Черняева.

Полковник посмотрел на него снисходительно.

— Затем, князь, что дружба дружбой, а ружья ружьями.

Всё устроили очень поспешно. На пароходе не было никаких приспособлений для пассажиров. Но все горели энтузиазмом и охотно поместились как попало в тесных каютах. Одному пришлось спать на столе. Когда тронулись, оказалось, что нет даже вилок и ножей на всех. Кто-то обедал перочинным ножом. А китайский нож Петра — с двумя палочками в футляре

вместо вилки, купленный в Мергене, — стал желанным пополнением общего хозяйства. Им пользовались по очереди, и Пётр ел палочками, к общему восторгу.

Плыть вверх по Сунгари было нелегко. В нижнем течении она шла такой же низменно-стью, как Амур, и была так мелка, что пароходик, сидевший в воде всего на три фута, не всегда находил фарватер. Бывали дни, когда проходили всего шестьдесят вёрст и беспрестанно слышали, как скрипит песок под килем. То и дело посылали вперёд лодку промерять глубину.

Но молодой капитан решил дойти до Гирина во что бы то ни стало, и они шли — каждый день, понемногу.

Капитан Васильев и его товарищ Андреев снимали карту реки, Усольцев каждую ночь определял широту по звёздам, Конради собирал растения, Пётр вёл дневник и метеорологический журнал и на каждой стоянке набивал карманы камнями.

Чем дальше, тем река становилась красивее и удобнее. Сначала по берегам тянулись деревни гольдов — рыбаков в одеждах из рыбьей кожи, с плоскодонными лодками и вешалами для юколы. Потом пошли китайские деревни. На реке появились большие лодки под парусами. Вдали встали зубчатые безлесные хребты.

В последних числах июля пришли в город Сянь-Синь — тысяч десять жителей, глинобитные стены, лавки, кумирни. Выше Сянь-Синя Сунгари прорывалась через хребет Доуссэ-Алинь, по склонам которого росли чёрная берёза и маньчжурский дуб. Потом берега стали низкими, однообразными, на сотни вёрст тянулись песчаные дюны и голая степь с мелкими озёрами. Потом, после слияния с Нонни — той самой Нонни, к которой Пётр два месяца назад спустился с Хингана, — река стала полноводнее, и идти стало легко и приятно.

Он стоял на палубе и думал, что всё связано. Хинган, с которого стекала речка в Нонни. Нонни, впадающая в Сунгари. Сунгари, впадающая в Амур. Амур, текущий в океан. Одна вода, одна система, одна огромная долина. А на картах — отдельные куски, нарисованные разными людьми, в разное время, по рассказам, по догадкам, по иезуитским донесениям двухсотлетней давности.

К Гирину подошли в середине августа.

Город стоял на высоком берегу, за зубчатой стеной, с башнями, кумирнями, лавками. Пароход встал на якорь. И тут оказалось, что весть о спрятанных под углём ружьях опередила их.

Их встретили вооружённые до зубов купцы. На берегу стояли люди с пиками и старыми фитильными ружьями. Лавки закрылись. Торговать с пришельцами было запрещено. Гиринские власти держались вежливо, но холодно и подозрительно: они, кажется, отлично поняли, что под видом дружеского посольства к ним приехали переодетые военные. Губернатор принял письмо, но к себе никого не позвал.

Говорили они только с двумя переводчиками, которые каждый день являлись на пароход, кланялись, пили чай и уходили. На берег не пускали. Наступала осень, по ночам начались заморозки, и надо было торопиться обратно: зимовать на Сунгари было нельзя.

Пётр стоял у борта и смотрел на закрытый город, на пики на берегу, на запертые лавки.

— Ружья под углём, — сказал он тихо Усольцеву.

— Что?

— Ничего. Вот что выходит, когда приходишь в гости с ружьями под углём.

Усольцев пожал плечами.

— Цель-то достигнута, Пётр Алексеевич. Карта есть. Река судоходна.

Это была правда. Они сняли подробную карту Сунгари от устья до Гирина.

Обратно, по готовой карте, шли полным ходом.

Только однажды, недалеко от Гирина, разворачиваясь в узком месте, пароход крепко сел на мель.

Гиринские власти больше всего на свете боялись, что русские останутся зимовать на их реке. Поэтому, едва узнав о мели, они тут же прислали на помощь двести китайцев.

Китайцы пришли с длинными шестами-стягами — молчаливые, в синих рубахах, с косами, обмотанными вокруг головы. Сотня из них зашла в воду по пояс, по грудь, упёрлась шестами в борт и стала толкать. Толкали каждый как мог — кто сильнее, кто слабее, кто в одну минуту, кто в другую. Пароход не двигался. Надсмотрщик-«божко» кричал на берегу, махал руками. Китайцы толкали, отдыхали, снова толкали. Ничего не выходило.

Пётр смотрел на них с палубы.

Он вспомнил Волгу. Мост в Нижнем, барку внизу и песню, «более похожую на стон». Бурлаки тянули тогда тоже все разом — но тянули под палкой, за гроши, и песня их была стоном. Он вспомнил, что есть и другая песня — та, под которую по всей Руси миром поднимают тяжесть: брёвна, колокола, баржи. Её поёт не надсмотрщик, а сами работники. Она нужна не для того, чтобы гнать, а для того, чтобы все взялись разом.

Он сбросил сапоги и мундир и соскочил в воду.

Вода была ледяная, по грудь. Китайцы обернулись. Он схватил свободный стяг, упёрся им в борт рядом с ними и запел — громко, во весь голос, так, как пели у Чёртова утёса станичники:

*Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зелёная, сама пойдёт!*

На «ухнем» он изо всех сил налёг на шест.

Китайцы смотрели на него, разинув рты. Потом один засмеялся. Потом другой. Пётр запел снова:

*Подёрнем, подёрнем — Да ухнем!*

И на «ухнем» налёг. Рядом с ним налегли двое китайцев. На третий раз — человек десять. На четвёртый они уже поняли: песня не для красоты, песня для того, чтобы толкать всем вместе, в одну секунду. Они подхватили «ухнем!» тонкими, высокими, странными голосами, коверкая слово до неузнаваемости, — «у-хе-нем!» — и налегли всей сотней разом.

Пароход дрогнул.

— Ещё! — закричал Пётр. — Эх, дубинушка!..

— У-хе-нем! — грянула сотня.

Под неописуемые крики тонких голосов пароход наконец тронулся и сошёл с мели.

Китайцы вылезали из воды мокрые, хохочущие, хлопали Петра по плечам, что-то кричали ему, показывали на его бороду. «Божко» на берегу кричал, чтобы они расходились. Никто его не слушал.

Это маленькое приключение сделало то, чего не смогло сделать дружеское письмо гиринскому губернатору. Между ними и китайцами установились самые лучшие отношения. Речь, конечно, шла о народе, а не о властях. Народ, как скоро понял Пётр, очень не любил своих дерзких маньчжурских начальников.

Вниз по реке они несколько раз останавливались у китайских деревень. Эти деревни были населены ссыльными из глубины Китая: здесь, на маньчжурской окраине, богдыхан держал своих каторжан, как русский царь держал своих за Байкалом. Везде их принимали очень дружелюбно.

Один вечер запомнился Петру навсегда.

Остановились у живописной деревеньки, когда уже сгущались сумерки. Несколько человек сошли на берег побродить. Скоро Петра окружила толпа — не меньше сотни китайцев. Он

не знал ни слова по-китайски, они не знали ни слова по-русски. И всё-таки они оживлённо и дружелюбно разговаривали — знаками — и отлично понимали друг друга.

Все народы понимают, что значит дружески потрепать по плечу. Предложить табачку или огонька, чтобы закурить, — тоже понятное выражение дружеского чувства.

Китайцев больше всего интересовало одно: почему у него борода, хотя он такой молодой? Им позволялось отращивать бороду, только когда стукнет шестьдесят.

Пётр показал знаками: если нечего будет есть, он сможет питаться бородой. Сделал вид, что отрывает кусок бороды и жуёт.

Шутку поняли и немедленно передали от одного к другому. Китайцы заливались смехом и ещё дружелюбнее хлопали его по плечу. Потом его повели по домам — показывали, как живут. Каждый предлагал свою трубку.

В одном дворе Пётр увидел то, что заставило его остановиться. Несколько семей — пять или шесть — вместе строили дом. Не свой, а для новой семьи, которую недавно пригнали. Мужчины месили глину с соломой, женщины носили воду, дети таскали хворост. Хозяин будущего дома, худой, измождённый человек, работал вместе со всеми.

Пётр показал знаками: кто велел?

Старик, который водил его по деревне, понял. Покачал головой, развёл руками: никто. Показал на себя, на соседей, на нового хозяина, сцепил пальцы обеих рук в замок. Все вместе. Так.

Потом показал куда-то вдаль, на юг, и провёл ладонью по горлу. Пётр понял и это: там, откуда их пригнали, — смерть. Здесь, на чужой земле, — только друг друг.

Старик сказал что-то ещё. Переводчика рядом не было. Но Пётр и без переводчика понял.

Тюменская старуха с полочкой под окном. Мужики на Томи на вожжах. Тунгус Никифор: «одному в тайге смерть». Китайский ссыльный за тысячу вёрст от дома, который строит дом для другого ссыльного.

Ни один из них никогда не слышал о другом.

В этой деревне не было ни следа «божко» — полицейского. Пётр заметил это потом и записал. В других деревнях, где «божко» был, дело всегда портилось, едва он показывался. Китайцы замолкали, расходились, отворачивались. Зато нужно было видеть, какие рожи они строили ему за спиной!

Толпа проводила его до самого парохода. На прощание, когда он уже стоял на трапе, кто-то из китайцев крикнул: «У-хе-нем!» — и вся толпа засмеялась.

Пётр засмеялся тоже. Потом, сам не зная почему, запел им с трапа — не «Дубинушку», а то, что пел в Никольском и на Иртыше: «Ой ходить сон коло вікон...»

Китайцы слушали молча. Колыбельную понимают все.

23 августа пароход вернулся к устью Сунгари, в станицу Михайло-Семёновскую на Амуре, откуда выходили.

Экспедиция кончилась. Про неё потом забыли. Усольцев и Пётр напечатали отчёты в «Записках» Сибирского отдела Географического общества. Но через несколько лет, во время большого пожара в Иркутске, сгорели все оставшиеся экземпляры «Записок» и карта Сунгари. Только через тридцать лет, когда начнут строить Маньчжурскую железную дорогу, русские инженеры откопают их отчёты и обнаружат, что Сунгари была исследована ещё в 1864 году.

Из Михайло-Семёновской Пётр поднимался вверх по Амуру на пароходе, медленно, долго, с частыми стоянками за дровами. Шёл сентябрь. По ночам на реке стоял туман. Он сидел на палубе и думал о брате.

Он знал из писем, что Саша добился своего: его приняли офицером в иркутский казачий полк. Он знал, что Саша уже в Иркутске, — с начала августа. Знал — и не мог туда попасть: Амур, Шилка, Забайкалье, Байкал, тысячи вёрст.

Месяц, два — и они будут вместе. Впервые со дня, как Саша ушёл в кадетский корпус, — двенадцать лет назад, — они будут жить под одной крышей.

*(Из дневника Александра)*

Александр приехал в Иркутск в начале августа.

Город показался ему серым, пыльным, чужим. Петра не было — где-то на Амуре, на Сунгари, в Маньчжурии. Никто толком не знал. В казачьем полку его встретили настороженно: князь, из Москвы, с какими-то бумагами о переводе, подписанными бог знает кем.

«Неприветлива Сибирь», — записал он в первый вечер.

И чуть ниже, перечитав последнее письмо брата:

«Петух мой что-то более радостно, чем я, смотрит на Сибирь».

Он снял две комнаты в деревянном доме недалеко от Ангары. Одну — себе, другую — брату. Поставил во второй комнате кровать, стол, полку для книг. Стал ждать.

4 сентября он записал в дневник то, что не решился бы сказать вслух:

«Желаю только одного — чтобы ни я, ни Петя не полюбили и не женились. Чтоб не стала между нами женщина».

Он перечитал запись. Покраснел, хотя в комнате никого не было. Хотел вычеркнуть — и не вычеркнул.

Он знал, что это глупо и эгоистично. Но они так долго были врозь — Лефортово, Пажеский корпус, Москва, Сибирь. Двенадцать лет — письма, письма, письма. Каждую неделю, мимо отца, обо всём на свете. Он писал брату о Боге и о Канте, о Дарвине и Гегеле, о том, что «я не верю в тебя», о «Не ездь на Амур». Брат писал ему о казаках и баржах, о Кукеле и Михайлове, о мальчике на руле. Но это были письма. А теперь они будут жить вместе.

И никакая женщина не должна этого испортить.

6 октября пришло известие, что Петя приедет дней через пять.

Александр записал:

«Мы пойдём по жизни рука об руку. Конечно, будем ссориться, как бывало в Москве и в Петербурге. Но в спорах рождаются новые мысли. Ведь у нас ум не вычитанный».

Ум не вычитанный. Это было лучшее, что он мог сказать о них обоих. Ум, который не повторяет прочитанное, а думает сам. Он гордился этим.

11 октября он с утра не выходил из дома.

Сидел у окна, выходившего на улицу, и смотрел. Делал вид, что читает. Не читал. Каждый раз, когда на улице показывалась повозка, вскакивал. Повозка проезжала мимо. Он садился.

Было холодно, ясно, по Ангаре шла первая шуга. Хозяйка дома, вдова-мещанка, принесла самовар и сказала, что брат, верно, сегодня не приедет: пароход через Байкал, говорят, задержался. Александр кивнул и не отошёл от окна.

Часов около двенадцати дня у ворот остановилась почтовая тройка.

Из повозки вылез человек — бородатый, обветренный, в старой казачьей шинели, накинутой поверх какого-то синего халата, в монгольской шапке, с сумкой через плечо и с туго свёрнутой косульей шкурой под мышкой. Он посмотрел на дом, на окно — и увидел брата.

Александр не помнил потом, как выбежал на крыльцо.

Они стояли посреди двора, обнявшись, и не говорили ничего. Потом Петя отстранился, посмотрел на брата и засмеялся.

— Саша. Ты здесь. Ты правда здесь.

— Правда, Петух. Правда здесь.

16 октября Александр записал в дневнике:

«Петя приехал 11-го, часов около 12 дня. Живём ладно и ни разу не поссорились — что удивительно, ибо Петух мой не очень-то деликатного характера».

А через несколько дней, после бала в Собрании, где Петя танцевал всю ночь, а Александр, как всегда, стоял у стены, он написал ещё:

«Петя танцевал. Я вспомнил, как отец говорил когда-то: “Я любовался, как он порхает по паркету, и сердце моё радовалось, что я имею такого ловкого сына”. Ну а я скажу: брата.

С Петей все разговаривают, все его любят и уважают. Он здесь свой».

Вечером того первого дня они сидели в комнате Петра, на полу, у печки, как когда-то в людской в Левшинском переулке.

Пётр разложил на полу всё, что привёз. Шлаки с вулканов Уюн-Холдонги. Клочок бумаги с засечками, написанными вслепую в кармане. Китайский нож с палочками. Косулью шкуру Никифора. Дорожную тетрадь, распухшую от вложенных листов.

Саша брал вещи по одной, рассматривал, слушал. Потом взял тетрадь и стал листать. Остановился на странице от 15 июля.

«Не то я делаю, что бы нужно... С кем переговорить? Саша — и его нет... Прощай. Кто?»

Он долго молчал. Потом поднял глаза.

— Это ты про меня?

— Про тебя. Про себя. Не знаю. — Пётр отвернулся к печке. — Там были дети, Саша. На Уссури. Голодные дети стояли у трапа и смотрели, как мы едим булки. А я историограф. Я пишу историю. Кому она нужна, эта история, если дети голодные?

Саша закрыл тетрадь.

— Нужна, — сказал он. — Только не та, что пишут историографы. Другая.

— Какая?

— Не знаю ещё. Та, где не генералы и губернаторы, а вот эти — урядник с покосом, китаец, который строит дом соседу, твой тунгус с калымом. Кто-нибудь когда-нибудь напишет такую историю.

Пётр посмотрел на брата.

— Может быть, мы?

— Может быть, — сказал Саша. — Вдвоём. У нас же ум не вычитанный.

За окном шла по Ангаре шуга. В печке трещали берёзовые дрова. Впервые за двенадцать лет они были дома — вместе.

«Прощай. Кто?» — написал он три месяца назад на Уссури.

Теперь он знал кто.



## Глава 14. Какою ложкою ел мужик

*Иркутск, Тункинская долина, Восточный Саян, Окинский караул, Амур; октябрь 1864 — декабрь 1865*

Они жили в двух комнатах деревянного дома над Ангарой, и через неделю обе комнаты стали одной.

Книги лежали везде: на столах, на подоконниках, на полу, на кроватях. У Саши — Кант, Гегель, Фейербах, Дарвин, его собственные рукописи «Бог перед судом разума» и «О происхождении видов». У Петра — Риттер, Гумбольдт, геология, карты, полевые тетради, мешок со шлаками Уюн-Холдонги, косуля шкура Никифора на полу у печки. Хозяйка, вдова-мещанка, заглядывала к ним, крестилась и уходила: прибирать здесь было бесполезно.

Утром Саша уходил в полк — он командовал казачьей сотней, — а Пётр в канцелярию генерал-губернатора, где для чиновника особых поручений по казачьим делам почти не было дела. Вечером они сходились, ставили самовар и садились работать.

Работали вдвоём. Деньги кончились быстро: отец не присылал ни копейки, жалованье было ничтожное, а Пётр уже начал копить на будущие экспедиции. Тогда они взялись за переводы. Первой была английская «Философия геологии» Пэджа. Саша переводил, Пётр правил терминологию, потом наоборот. Спорили над каждым словом.

— «Denudation» — это «обнажение»?

— Нет, обнажение — это когда раздели. А это когда вода и лёд снимают с горы породу слой за слоем. «Денудация». Оставь латинское.

— Читатель не поймёт.

— Поймёт, если объяснить.

Они спорили так часто, что хозяйка однажды прибежала, решив, что братья дерутся. Но не ссорились ни разу. Саша записал в дневнике: удивительно, «ибо Петух мой не очень-то деликатного характера».

Прудона они читали по ночам.

Книгу — «Систему экономических противоречий», два толстых тома по-французски — Пётр взял в частной библиотеке Вагина и Шестунова, где был одним из восьмидесяти постоянных читателей. Он вспомнил, как Михайлов, кашляя в платок у печки на прииске, сказал ему: «Прочтите Прудона. Он первый спросил: а зачем она вообще, эта машина?»

Прудон писал плохо, запутанно, со всеми ругался, противоречил сам себе. Иногда братья бросали книгу на пол и спорили до рассвета. Но иногда одна фраза переворачивала всё.

— Вот, слушай, — сказал однажды Саша, держа том под лампой. — «Собственность — это кража». Это из старой книги, он здесь повторяет. И вот: общество, которое держится на власти, всегда кончается тем, что власть пожирает общество.

— Я это видел, — сказал Пётр.

— Где?

— Везде. В Чите. Кукель — лучший человек на свете. Комитеты, проекты, выборные депутаты. А пришла бумага из Петербурга — и всё. Маркович на Камчатке. Двадцать два рубля — на Хингане, сорок четыре баржи — на Амуре. Власть сама по себе ничего не умеет. Умеют люди. А она их только держит.

Саша посмотрел на брата долгим взглядом.

— Ты сам до этого дошёл? Без книг?

— Сибирь дошла. Я только записывал.

Они замолчали. За окном шла по Ангаре шуга.

— Знаешь, что самое странное? — сказал наконец Саша. — У Прудона это — теория. Он сидит в Париже, пишет, рассуждает. А ты это видел. Прудон знает, что так должно быть. А ты знаешь, что так есть.

С ссыльным историком Афанасием Прокофьевичем Щаповым Пётр познакомился в ту же зиму.

Щапова прислали в Иркутск в мае. Он был сын дьячка и бурятки, вырос в селе Анге на верхней Лене, под Иркутском, окончил Казанскую духовную академию, стал профессором Казанского университета. В 1861 году, после расстрела крестьян в селе Бездна, он отслужил по убитым панихиду и произнёс речь, в которой назвал их мучениками за свободу. Его арестовали и выслали — сначала в монастырь, потом сюда, на родину, в Сибирь.

Жил он в бедности, в двух маленьких комнатах на окраине, с женой. Пил. Работал ночами. Писал о расколе, о земстве, о том, как жил и как думал народ. Его статьи читали все, кто вообще читал в Сибири.

Пётр пришёл к нему в первый раз с запиской от Вагина. Щапов, невысокий, сутулый, с азиатскими скулами и огромными тёмными глазами, долго смотрел на гостя — князь, офицер, чиновник генерал-губернатора.

— Чего вам от меня? — спросил он без приветствия.

— Поговорить. Я ездил по Амуру, по Маньчжурии, по Забайкалью. Видел, как живут казаки, переселенцы, буряты. Хочу понять, что видел.

Щапов прищурился.

— А что видели?

Пётр стал рассказывать. Про уссурийскую станицу, которая делит сено «по едокам». Про тунгуса, род которого «сбрасывается» на калым. Про мужиков на Томи, державших его на вожжах. Про деревни на Амуре, которые сами решали, кому везти курьера.

Щапов слушал, не перебивая. Потом вдруг встал, подошёл к полке, взял деревянную ложку — простую, долблёную, мужицкую, — и с силой стукнул ею по столу.

— Вот! — сказал он. — Вот это и есть история! А не то, что вам в Пажеском корпусе рассказывали, — какой царь какой указ подписал, какой генерал какую крепость взял. Это всё пена. Скажите мне, какою ложкою ел мужик! Какою лопатою копал! Как жил, как пахал, как делил землю, как выбирал старосту, как хоронил, как ставил избу! Вот где история.

Он сел, тяжело дыша, и повертел ложку в руках.

— Сто лет пишут историю России. Карамзин, Соловьёв. Всё про государство. Как Москва собирала земли. Как цари укрепляли власть. А как народ жил, пока его собирали и укрепляли, — никто не написал. А народ жил сам по себе. Миром. Общиной. Артелью. Областью. Новгород жил своим вечем, Псков — своим. Вятка — своим. Казаки на Дону, на Яике, на Днепре — своим кругом. Сибирь, пока до неё Москва не добралась, жила своими острогами, где служилые люди сами себе атаманов выбирали. А потом пришло государство и всё это задавило. И историки пишут, что это прогресс.

— На Днепре, — повторил Пётр. — Запорожцы.

Щапов посмотрел на него внимательнее.

— Вы про Сечь знаете?

— Мать была из Сулим.

— Сулима? — Щапов вдруг улыбнулся, впервые за разговор. — Гетман Сулима, Кодак. Ну, тогда вы поймёте. Читали Костомарова? «Мысли о федеративном начале в древней Руси»? В «Основе», три года назад?

— Нет.

— Прочтите. Костомаров — малоросс, он с Шевченко был в одном братстве, за это его и сослали. Он пишет, что Русь была не одним государством, а союзом земель, каждая со своей волей. Федерацией. А Москва это всё сломала. Я с ним во многом спорю, но здесь он прав. — Щапов постучал ложкой по столу, уже тише. — Россия — это не одна столица. Это сто областей. И каждая может жить своим умом. И Сибирь может. Если её оставят в покое.

Пётр ходил к Щапову всю зиму. Приносил ему книги из библиотеки Вагина, иногда — немного денег, которые Щапов брал хмуро, не глядя, и записывал в долг, хотя оба знали, что он не отдаст. Спорили до ночи.

— Вы думаете, Сибирь может жить своим умом? — спросил однажды Пётр.

— Не думаю — знаю. Вы же сами рассказывали. Мужики на Томи, станица на Уссури, тунгусы. Они и живут своим умом. Им только не дают.

— А если дать? Отделить Сибирь от России?

Щапов покачал головой.

— Отделить — не то слово. Не отделить, а развязать. Пусть Сибирь сама решает свои дела, а с Россией живёт в союзе. Как равные. — Он помолчал. — Есть тут молодые люди, сибиряки, в Омске, в Томске. Они так думают. Потанин, Ядринцев... Учились в Петербурге, вернулись. Говорят: Сибирь — колония, её грабят, надо, чтобы она сама собой управляла.

Через несколько месяцев, в мае, Пётр услышит, что в Омске арестовали этих молодых людей — Потанина и его товарищей, — по делу о «сибирском сепаратизме». Их обвинят в том, что они хотели отделить Сибирь от России и устроить республику по образцу Соединённых Штатов. Щапов, узнав, напьётся и будет три дня молчать.

А Пётр вспомнит Буткова: «Неужели Амур так широк?» Вспомнит, что Сибирью управляют из кабинетов, где не знают ширины её рек. И подумает, что молодые сибиряки в Омске правы — только просят мало.

Через сорок девять лет, в 1913 году, в письме к молодому историку Боровому, старик Кропоткин напишет из Англии:

«Щапов учил меня обращать внимание на экономические условия. “Скажите мне, какую ложкою ел мужик! Какую лопатой копал!”»

Он будет помнить эту ложку всю жизнь. Всё, что он потом напишет — о деревенской общине, о средневековых городах, о гильдиях, о взаимной помощи в истории, — будет историей не царей, а ложек и лопат. Историей снизу.

Зимой 1864/65 года братья часто бывали в иркутском клубе, куда раз в неделю собиралась молодёжь на танцы. Там же собирались и «нигилисты» — так в Иркутске теперь звали всех, кто читал «Современник», носил длинные волосы или не ходил в церковь. Братья были едва ли не в центре этой молодёжной «партии».

Играли в любительских спектаклях. Пётр по-прежнему играл купчиков, а теперь и Саша вышел на сцену. В Островском «Бедность не порок» Пётр играл Митю, бедного приказчика, Саша — кого-то из гостей. После спектакля всю труппу позвал ужинать к себе ссыльный поляк Себастьян Иосифович Беринда-Чайковский, отец двух красивых дочерей.

Ужинали шумно, весело, за длинным столом. Хозяин, седой, усатый, с орденой ленточкой времён ещё прошлого восстания, рассказывал про Варшаву. Хозяйка, «славная, одно слово», как потом запишет Саша, подкладывала всем пироги. Дочери — старшая и младшая, Верочка, шестнадцати лет, — разносили чай.

Потом попросили Петра «показать».

Он долго отнекивался, потом встал, отошёл к печке, повернулся спиной — и обернулся другим человеком.

Это был немецкий пастор у гроба сапожника. Пастор говорил надгробное слово — гнусаво, с остановками, путая русские слова, и всё время сбивался с похвал покойнику на его неоплаченный долг за сапоги, сшитые пастору.

Хохотали так, что дрожали стёкла.

Потом он показал русского купчину, который надувает покупателя, божась всеми святыми. Потом томную петербургскую аристократку, которая падает в обморок при слове «мужик». Потом провинциальную барышню за роялем, которая поёт романс и всё время поправляет локон.

Хохотал даже старый Беринда-Чайковский, вытирая слёзы усами.

Одна Верочка не хохотала. Она стояла у двери с подносом и смотрела не на Петра, а на Сашу, который сидел в углу и смотрел, как всегда, с тихой улыбкой. И Саша смотрел на неё.

Пётр заметил это — краем глаза, посреди своей барышни за роялем, — и почему-то сбился.

Дома, ночью, Саша сказал:

— Хорошая семья. Славные люди.

— Славные, — согласился Пётр.

— Верочка умная. Говорит умно. Не кривляется.

Пётр промолчал. Потом сказал, отвернувшись к стене:

— Ты же писал: «чтоб не стала между нами женщина».

Саша засмеялся.

— Откуда ты знаешь, что я писал?

— Ты дневник на столе оставляешь. Я не читал. Увидел одну строчку.

Саша помолчал.

— Никакая женщина между нами не станет, Петух. Спи.

Пётр долго не спал. Ему было стыдно — и за то, что увидел строчку, и за то, что почувствовал за ужином. Это было глупо, мелко, недостойно. Саша имел право на всё на свете. Но он лежал и чувствовал, как что-то сжимается внутри — то самое, что, наверное, чувствовал Саша четвёртого сентября, когда писал свою строчку.

В феврале он записал в своём дневнике совсем другое: что ему «мучительно хочется» изучить физические силы, внутреннее строение тел, — заняться наукой, настоящей, глубокой, не отрываясь. И что деньги нужны на экспедицию.

Он копил деньги. Он думал о Саянах.

В начале 1865 года в Иркутск пришёл номер «Северной пчелы» — прошлогодний, но для иркутян свежий. В нём была заметка о гигантском водопаде на сибирской реке Оке, левом притоке Ангары. Английский путешественник и художник Аткинсон будто бы видел его и зарисовал: вода падает со скалы в сто сажен, не хуже Ниагары.

На заседании Сибирского отдела Географического общества Усольцев предложил проверить. Заодно — срисовать надписи на прибрежных скалах Оки, о которых рассказывал один из членов отдела. И поглядеть на ледниковые следы в Саянах, о которых давно думал Пётр.

Отдел разрешил истратить до ста рублей. Остальное Пётр добавил из своих сбережений. Денег всё равно было мало.

В мае он выехал — верхом, вдвоём с казаком Еремеем, немолодым, неразговорчивым, знавшим Тункинский край.

Байкал ещё стоял подо льдом у берегов. В непроходимых лиственничниках по долинам ручьёв цвёл багульник — розовый, лиловый. Дул холодный ветер с гор и с озера.

Через болотистую падь речки Култушной, через небольшой хребет, через падь ключа Ильчи — здесь, по мнению геолога Меглицкого, когда-то начиналась Ангара, пока не пробила себе путь из Байкала, — они вышли в Тункинскую долину.

Это была широкая котловина между горами, вёрст на двести в длину, с бурятскими улусами, казачьими станицами, лугами и пашнями. С юга над ней стояли Тункинские Альпы — острые, зубчатые, со снегом на вершинах, как Альпы на картинках.

В Тунке, большом казачьем селе в триста пятьдесят домов, стояла старая деревянная церковь. Пётр зашёл в неё и остановился перед иконой Николая Угодника. Икона была русская, старого письма, а оклад — бурятский, буддийский, с узорами, какие он видел на хадаках и в дацанах.

— Кто ж такое сделал? — спросил он у сторожа.

— А буряты, — сказал сторож. — Микола, он и ихний тоже. Они к нему ходят, свечки ставят. А оклад сами сделали, в подарок. По-своему.

Пётр долго стоял перед иконой. Русский святой в бурятском окладе, в казачьей церкви, в долине у монгольской границы. Никто никому не приказывал. Просто жили рядом — и спросились.

Они поднимались вверх по Иркуту.

Минули Туранский караул, Нилову пустынь с горячим источником, вода которого была за сорок градусов, — там, в деревянной купальне, лечились бурятские старики и казачьи вдовы. Слева, над всем краем, стояла вершина Мунку-Сардык, острый конус в снегу, с глубокими морщинами по склонам. С вершины на северо-запад спускалась сплошная белая масса — снег, а может быть, и лёд.

Пётр смотрел на неё в трубу часами.

Белый Иркут, верховья, горная тундра. И наконец водораздел — Нуху-Дабан.

Здесь он нашёл то, за чем ехал.

Плоские вершины Нуху-Дабана были усеяны валунами — огромными, гранитными, разбросанными по тундре, как будто их кто-то рассыпал горстями. На валунах и на скальных выходах тянулись параллельные борозды, прямые, длинные, будто прочерченные резцом. Скалы были отполированы, гладкие, как стекло, с одной стороны — и обломаны, шершавые — с другой.

Пётр слез с коня, сел на валун и долго водил пальцем по бороздам.

Их невозможно было спутать с трещинами в камне. Трещины шли куда попало. Борозды шли в одном направлении, все до одной, строго параллельно — сверху вниз, с вершин в долину. Их прочертили камни, вмёрзшие в лёд, когда ледяная масса, медленно, на протяжении тысячелетий, сползала с Нуху-Дабана, как с Мунку-Сардыка сползает сейчас.

Здесь был ледник. Огромный, покрывавший всё нагорье.

Он вспомнил Бликин на Шилке — долину-корыто. Вспомнил тогдашнюю мысль: «лёд». Тогда это была догадка. Теперь — доказательство.

Он записал в тетрадь — и потом почти дословно в отчёт: «Возможность присутствия ледников на такой высоте под широтой 51° не представляет ничего невероятного, если вспомнить распространение их в Европе и Северной Америке...»

Брату он написал в мае: на гольцах ясны следы ледников — гладкие плоскости и борозды. «Материала для ледниковой гипотезы накапливается много».

Еремей смотрел, как барин сидит на камне и гладит его рукой, и молча курил трубку. Потом сказал:

— Камень как камень, ваше благородие. Чего его гладить?

— Его, Еремей, лёд гладил. Тысячу лет. Может, десять тысяч.

Еремей подумал.

— Ну, лёд — он упрямый, — согласился он. — Пушай гладил.

Дальше — озеро Иркут, ещё покрытое льдом, и рядом, за низким болотистым увалом, Окинское озеро. Из одного вытекал Иркут, из другого — Ока. Оба озера, как показалось Петру, сильно обмелели со времени образования. Берега их тянулись высокими террасами — старыми уровнями воды.

Озёра высыхают? Одни только эти — или все в Центральной Азии? Он записал и этот вопрос. Через сорок лет он напишет об этом большую работу — о высыхании Евразии.

Потом, на Бутогольском гольце, — заброшенный графитовый прииск француза Алибера. Цветные стёкла над шахтой, резные кресты, парники, сгнившие ящики — и ни души, кроме старого сторожа-сойота, который двадцать лет ждал, что хозяин вернётся. На вершине стояла брошенная метеорологическая станция. Термометр висел неправильно, на солнце. Пётр перевесил его в тень и сделал несколько наблюдений — едва ли не первые в России данные для такой высоты.

Окинский караул стоял напротив устья реки Тиссы, там, где Ока в последний раз пробивается через гранит и дальше течёт спокойно, в собственных наносах.

Ветхая казарма за развалившимся частоколом, амбар, часовня. Четыре казака служили здесь, на краю империи, у монгольской границы. И ещё две семьи промышленников, охотников на соболя и белку, поселившихся тут несколько десятилетий назад, когда зверя было больше, и так и оставшихся по привычке.

Шесть мужчин, несколько женщин, дети. До ближайшего жилья — сотни вёрст тайги и гольцов.

Пётр прожил в карауле несколько дней. И увидел, что здесь, на краю земли, никакого начальства нет. Урядник числился старшим, но старшим был только на бумаге. Всё решали вместе — за общим столом, вечером, за чаем. Кому идти на охоту, кому чинить крышу, кому ехать за солью в Тунку. Добычу делили поровну — и казаки, и промышленники. Если у кого-нибудь не было удачи, делились с ним. Если заболел ребёнок, все бабы сидели с ним по очереди.

— А как иначе? — сказала одна из промышленниц, когда Пётр спросил. — Тут одна семья — не выживет. Тут, ваше благородие, все — одна семья.

Окинские казаки сразу развеяли иллюзию о Ниагаре.

— Какой водопад? — удивился урядник. — А, это на Оке-то? Ну, есть один, в пади. Да он невелик.

Пётр съездил посмотреть. Вода падала со стены не выше десяти метров. Струя была такая, что едва наполнила бы за полминуты сорокаведёрную бочку.

Он стоял у «сибирской Ниагары», смеялся, и вспоминал Буткова, у которого Амур был не шире Невы. Здесь была обратная история: в Петербурге десятиметровый ручей превратился

в величайший водопад мира. Рисунки Аткинсона, переписанные корреспондентом, который сам здесь не был, напечатанные в газете, которую в Петербурге никто не проверял. Вот как рождаются знания о Сибири в столице.

Он измерил водопад, записал всё точно и с удовольствием представил себе, как будет докладывать об этом в отделе.

На известковом утёсе Монгольжин, над Окой, он нашёл и надписи, ради которых его тоже посылали: рисунки красной краской, клинообразные и сердцевидные знаки, оставленные людьми бог весть когда. Он перерисовал их все в тетрадь.

Вверх по пади Джунбулака он поехал, наняв лошадей у окинских казаков.

Ущелье было узкое, дикое, мрачное. Ни тайга у Байкала, ни низовья Аргуни не шли с ним в сравнение. Стены — тёмная застывшая лава. Дно завалено огромными гранитными валунами, лежащими так ровно по обоим берегам, что их не могла принести вода. Их оставил лёд.

Потом — падь реки Хикушки. В её верховьях поднималась конусообразная вершина.

Караван взбирался по лавовому потоку, ровному, как мостовая. Лава была толщиной не меньше шестидесяти метров. Наверху — срезанный, как ножом, конус, покрытый мхом, снегом и лишь с одной стороны заросший маленькими лиственницами. Конус был сложен из шлаков, пористых туфов, мелких вулканических бомб.

Пётр поднялся на край и заглянул внутрь.

Перед ним лежала правильная воронка — сажен шестьдесят в поперечнике, глубиной сажен двадцать пять. На дне, среди камней, чернело маленькое озерцо талой воды.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.